БРАТЬЯ ШВАЛЬНЕРЫ
ГОГОЛЬ
ГЛАВНЫЙ ЧЕРНОКНИЖНИК ИМПЕРИИ

Братья Швальнеры

Гоголь. Главный чернокнижник империи

«Издательские решения»

Братья Швальнеры

Гоголь. Главный чернокнижник империи / Братья Швальнеры — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-508187-2

Гоголь… Есть ли в истории русской литературы более мистическая и загадочная фигура? Его перу принадлежат истории про упырей, вурдалаков, призраков, леденящие кровь с момента создания и до наших дней. Но кто знает о мистических событиях, происходивших в жизни самого писателя? О том, какие реальные события и герои были положены в основу «Вия» и «Страшной мести»? Здесь, под одной обложкой, мистика переплетается с историей, раскрывая все тайны главного чернокнижника Русской Империи!

ISBN 978-5-00-508187-2

© Братья Швальнеры
© Издательские решения

Содержание

Книга первая. Гоголь. Вий 6
Пролог 7
Глава первая. Болезнь 12
Глава вторая. Бастард 21
Глава третья. Душа поэтов 28
Глава четвертая. Роман в письмах 33
Глава пятая. «Мученики ада» 39
Глава шестая. Хома 44
Глава седьмая. Третье отделение 49
Глава восьмая. Копье 53
Доктор Сигурд Йоханссон. О копье Лонгина и ближнем круге Гоголя 57
Глава девятая. Заколдованное место 65
Конец ознакомительного фрагмента. 69

Гоголь
Главный чернокнижник империи

Братья Швальнеры

Дизайнер обложки Братья Швальнеры
Иллюстратор Братья Швальнеры

© Братья Швальнеры, 2019
© Братья Швальнеры, дизайн обложки, 2019
© Братья Швальнеры, иллюстрации, 2019

ISBN 978-5-0050-8187-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Книга первая. Гоголь. Вий

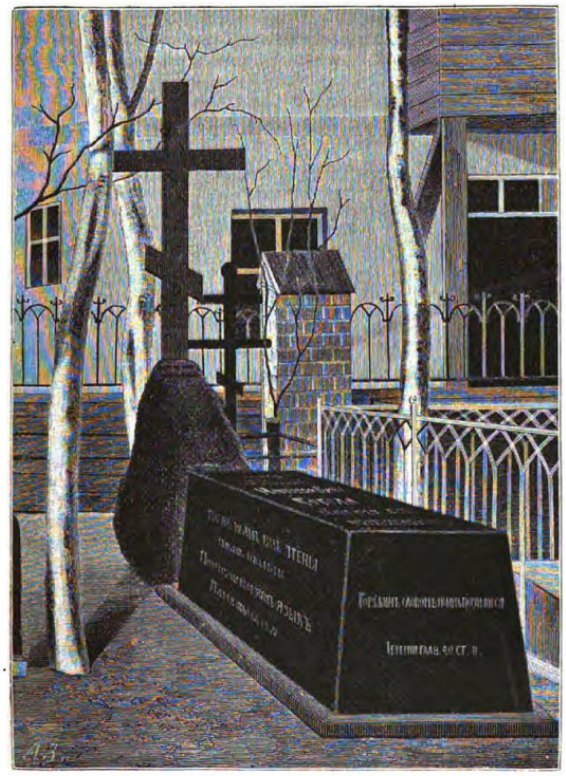
Все люди по сравнению с Пушкиным – пузыри.
Только по сравнению с Гоголем Пушкин – сам пузырь.

Даниил Хармс

Пролог

Май 1931 года, Москва

Сказать правду, заместитель заведующего кафедрой истории литературы Первого МГУ профессор Лидин не ждал ничего хорошего от встречи с Кагановичем, на которую был вызван сегодня в строгой форме путем звонка первого секретаря МГК его руководству. Человек, далекий от власти и вообще управления в любой его форме, интереса для начальства обычно не представляет, и потому, по старой русской традиции, вызвать его могут только для того, чтобы дать выволочку или в чем-то обвинить. Во всяком случае, с начала года уже человек 5 профессоров МГУ – правда, из числа старой гвардии, работавшей еще с царских времен – были отправлены под следствие по подозрению в шпионаже. Грешным делом, и самого Лидина начали было посещать подобные мысли, но в общем, как он сам после рассудил, они были абсурдны – если его в чем и подозревают, то зачем был вызывали в МГК? Тогда бы уж сращу по подведомственности – в НКВД или еще куда. Какое отношение первый секретарь МГК имеет к работе правоохранительных органов? Хотя и к тому, что ничего нет невозможного в стране, где сказка практически уже стала былью, профессор Лидин был готов – арестовать запросто могли и в кабинете Кагановича. Однако, за неявкой уж точно последовала бы взбучка, а потому после обеда профессор Лидин, скрепя сердце, отправился на высочайшую аудиенцию.



Могила Гоголя.

Въ Москвѣ, въ стѣнахъ Данилова монастыря, войдя монастырскими воротами и взявъ налѣво, между церковію св. Данiила и кельями, находится могила Н. В. Гоголя.

Могила Гоголя до перезахоронения

К его удивлению, о том, что Каганович вызвал его, никто в партийной организации ничего не знал. У всех были свои заботы и дела, что немного успокоило профессора- если бы

его в чем-то заподозрили, то уж наверняка в такой маленькой организации, как горком только об этом бы и судачили. Поднявшись наверх, профессор разместился в до отказа набитой людьми приемной первого секретаря, записался у барышни возле телефона и стал терпеливо ждать. По количеству посетителей было понятно, что прием состоится в лучшем случае за полночь, однако, к его великому удивлению, Каганович, едва услышав, что он пришел сразу велел его пригласить.

– Добрый день, Владимир Германович, проходите, присаживайтесь, – всемогущий и всесильный Каганович, член сталинского ближнего круга, который, хоть и был земляком Лидина, но казалось, жил на другой планете и вообще в другом мире, был необычайно вежлив. Лидина это сразу подкупило.

– Благодарю вас, Лазарь Моисеевич.

– Как ваше творчество?

– Да какое там творчество… Забросил практически… Времени нет, все дни провожу в университете, занимаюсь организационными вопросами, строительством. Не до служенья муз…

– Напрасно! Я вот читал некоторые ваши вещи, «Голубое руно», например. Очень емко и красиво раскрывает картину Гражданской войны. Сейчас, знаете ли, всякие Бабели да Булгаковы очернить пытаются, ревизии подвергнуть. Будто бы не было там ничего замечательного, никаких подвигов, ничего. А вы очень привлекательно обо всем пишете. Сразу видно, что для вас как для фронтовика военные воспоминания особенно теплы и приятны. И оттого делитесь вы ими с читателем с такой любовью, что волей-неволей даже после Бабеля проникаешься духом революционной романтики и патриотизма. Вам, товарищ Лидин, непременно надо писать.

– Спасибо за высокую оценку, Лазарь Моисеевич…

– Это аванс, – улыбнулся в усы партийный бонза. – В действительности же ваши работы произвели на меня впечатление как на коммуниста. Вы – коммунист, человек, преданный делу партии. И потому партия поручает вам ответственное задание, которое не каждому из ваших собратьев по перу да и по университету может поручить. Видите ли, тут нужны будут ваши качества как ученого-филолога, писателя и настоящего коммуниста одновременно. Согласитесь, в наши времена растущей демократии сложно такого отыскать. А товарищ Сталин мне строго-настрого приказал: найди! Неделю я перелопачивал ваши институтские кадры, и остановился вот на вас…

– Еще раз спасибо, но о чем речь?

– Слышали ли вы что-нибудь о разгроме… прекращении деятельности Данилова монастыря под Москвой?

– Краем уха. В прессе скудно писали, что не попал под ленинскую кампанию национализации церковных ценностей, и в прошлом, кажется, году его реквизиция существенно пополнила истощенный коллективизацией бюджет…

– Ну вот видите. А говорите: «краем уха». Так вот. В прошлом году обнаружили мы там огромное количество вещей, представляющих историческую ценность, реквизировать или просто национализировать которые без потерь для их состояния не удастся. Ряд из них мы передали профильным специалистам – в музеи, художественные галереи, экспозиции. Кое-что, что представляло ценность для эмигрировавших дворянских фамилий, продали им на запад – реализовать здесь все равно бы не вышло, а так все же пополнение казны. Среди них обнаружили мы могилу писателя Гоголя, которую по эстетическим и этическим соображениям не сочли возможным сравнять с землей, хотя такая участь постигла все монастырское кладбище.

– А почему для Гоголя исключение? Насколько я помню, лет 10 назад или 5, его произведения были включены в «циркуляр Крупской» и запрещены к прочтению в России?!

– Крупская – еще не вся партия. А при определенных обстоятельствах, очень может быть, что и вовсе не партия. А товарищ Сталин, например, ценит ту едкую и емкую сатиру, которой Гоголь в свое время подвергал общество, в котором он жил, в самых разных его пластах. По его мнению, писателю такого масштаба надлежало иметь немалое мужество, чтобы писать и публиковать такое. Постоянный негласный надзор полиции, установленный за ним в Петербурге после знакомства с Пушкиным и продлившийся едва ли не до конца жизни – ярчайшее тому подтверждение. Так что книги его мы вскоре вернем и в школьные программы, и на прилавки. И понятно, что прах столь дорогого для СССР писателя не может просто так без надзора валяться в лесу, в который вскоре превратятся руины бывшего Данилова монастыря. Понимаете? Мы решили перезахоронить его на Новодевичьем кладбище. И потому вам как специалисту, в том числе, по творчеству этого замечательного писателя, поручается создать комиссию по перезахоронению, которая в ближайшие дни должна отправиться к месту дислокации могилы, эксгумировать ее и сопроводить останки на кладбище, где они будут приняты и захоронены по акту. При выполнении данного поручения вам разрешается набирать специалистов того профиля и количества, какие сочтете нужными- всем все будет оплачено, приказы об освобождении от работы на время деятельности комиссии будут исходить лично от меня. И еще. Один важный момент вам передать поручил мне лично товарищ Сталин. Надгробье Гоголя состоит из различных геометрических фигур и надписей, которые вы увидите по приезде. Так вот желательно было бы, чтобы все его надгробье, вся лицевая часть были сохранены в первозданном виде – с тем, чтобы на Новодевичьем мы смогли не просто осуществить захоронение останков, а, сохранив внешний вид могилы и кургана, показать всем, что крайне уважаем как самого писателя, так и связанные с ним исторические традиции.[1]

Под конец рабочего дня профессор Лидин явился к декану факультета, доктору исторических наук Леониду Ивановичу Сметанникову со служебной запиской, уже завизированной Кагановичем, в которой излагалась суть работы и предлагался состав комиссии, в которую Лидин включил студентов старших курсов. Вчитываясь в нее, Сметанников проворчал:

– Ну что ж, Гоголь – это интересно. Только учти, что увидеть там ты можешь всякое, и не всему всегда отыщешь логическое объяснение.

– Что, например?

– Например, следы жизни в гробу. После его захоронения местные крестьяне, жившие в Даниловом монастыре, якобы слышали стенания, доносящиеся из-под земли в том самом месте, где был зарыт гроб… – профессор говорил нарочито мистическим, тихим голосом. На Лидина это не произвело впечатления:

– Абсурд. С такой глубины и такой плотности земляного материала, под которыми погребен прах, даже при большом желании и наличии каких-нибудь эхолотов ничего услышать невозможно!

– Тут ты прав. Однако, многие современники действительно поминают охватившую Гоголя при жизни боязнь быть похороненным заживо.[2] И потом обстоятельства погребения также наводят на мысли – врачом осмотрен не был, похоронили за полдня, а смерть констатировал полуграмотный и вороватый слуга Семен, который после смерти писателя присвоил все сколько-нибудь ценные его вещи…

– Но кому и зачем потребовалось хоронить его живым? Не такой уж он был едкий политический сатирик, чтобы действующая власть решилась расправиться с ним подобным образом…

---

[1] Могила Гоголя // Исторический вестник. Историко-литературный журнал. СПб. Типография А. С. Суворина. 1886. Т. 24. С. 112—119

[2] Чиж В. Ф. Болезнь Н. В. Гоголя. – Статья из журнала «Вопросы философии и психологии», 1903. №66, 67, 68, 69, 70; 1904. №71..

– А кто был его любимый поэт, помнишь? Пушкин! А что о нем и его смерти было написано в свое время Лермонтовым: «Есть божий суд, наперсники разврата!»

– Что вы имеете в виду?

– А то, что, быть может, не земная власть царя, а некая высшая власть иного властителя, куда более могущественного, рассудила ему такую судьбу и такую смерть…

– Но за что???

– Как знать, как знать. Быть может, твоя экспедиция и поможет тебе ответить на эти вопросы…

Еще пара дней ушла у Владимира Германовича на согласование состава комиссии и подписание всяких организационных приказов – связанных с выделением машины, топлива, освобождением студентов от занятий. Те его выпускники, которые на лекциях и семинарах Лидина проявили наибольший интерес к Гоголю и продемонстрировали наивысшие показатели знания его жизни и творчества, охотно согласились помочь своему научному руководителю в сложной и интересной работе. Однако, все нужно было технически подготовить – на Новодевичьем, буквально взрывающемся от количества работы, ничего не слыхали об указании Кагановича и потому не приготовили место для могилы писателя, что сдвинуло начало экспедиции Владимира Германовича на несколько дней. Потом на два дня зарядили дожди, во время которых земляные работы были обречены на провал – и только в последний майский день экспедиции профессора суждено было достичь сих сирых мест.

А места тут были чудные – ближнее Подмосковье, девственный лес, свежайший и кристально чистый воздух. Да и почвы были черноземные – монастыри, которые, как известно, в царские времена относились к крупнейшим землевладельцам, абы какие почвы бы для себя не подобрали. Сирыми же эти места можно было назвать из-за судьбы их – простившись с монастырем, многолетние его батраки да прихожане, принявшие активное участие в его разграблении, остались без куска хлеба и без работы. До того, как воздвигнут здесь какое-нибудь производство, надо еще дожить, а любая кража при реквизиции церковных ценностей приравнивалась к хищению социалистической собственности и каралась в пору «закона о пяти колосках» расстрелом. Так что спервоначалу охвативший местных жителей энтузиазм по «экспроприации экспроприаторов» очень скоро обернулся хандрой, алкоголизмом и грабежами среди своих.

Несмотря на явный атеизм и бедность местных жителей, Лидину составило немало труда найти добровольцев на вскрытие могилы писателя. Атеизм, когда он ненаучный, всегда соседствует с темнотой и предрассудками, и потому жители окрестностей монастыря, которые еще несколько лет назад составляли его паству, памятуя закоснелые обычаи не трогать прах умерших, наотрез отказывались выполнять партийное задание. Наконец, троицу молодых алкоголиков все же удалось к тому уговорить, не только посулив изрядную порцию спиртного, но и пригрозив расстрелом и все время поминая фамилию Кагановича. Зато посмотреть на вскрытие гроба, по местным преданиям, много лет притягивавшего всевозможную нечисть и недобрые предзнаменования накануне самых трагических и кровопролитных событий в истории страны, собралась вся округа. Старики нервничали и все время говорили о наказании, которое, по выдуманному ими самими преданию, постигнет нарушителя покоя могилы дьявольского писателя. Молодежь слушала их и желала лично убедиться в том, как профессора Лидина и его товарищей «разразит гром».

Сама могила представляла собой, скорее, мемориал и место поклонения, нежели, чем обычное захоронение. Над ней возвышался небольшой курган, увенчанный внушительным деревянным крестом, почерневшим и местами истлевшим от времени – так называемой «голгофой». Со всех сторон красовались здесь выдержки из Евангелия, писанные старорусскими буквами. Когда «голгофу» ломами своротили с места, сидевшая на ней ворона даже не шелохнулась – будто приросла к этому магическому надгробью или вовсе ее хватил удар. Между тем,

глаза боятся, а руки делают – и вскоре копатели уже соорудили рядом с местом захоронения порядочную гору из земли, исчезнув на глубине человеческого роста. Велико же было удивление профессора, когда получасовые раскопки не принесли ожидаемого результата – гроба писателя тут не было.

– А куда же он мог деться? – вопрошал Владимир Германович, искренне жалея того сумасброда, который, зная о «каре небесной», все же опередил их и выкопал останки писателя много лет назад.

– Никуда. Точно говорю, все здесь, – говорил дед Анфимий, один из местных старожилов, горячо протестовавший против затеи секретаря МГК. – Все этой могилы боялись. Мне дед еще сказывал, что ее лучше стороной обходить, и, хоть место святое, в могиле – истинный крест-сатана лежит. Если бы кто подошел или задумал чего, мы бы знали, чай больше полувека здесь живем.

На сей раз Лидин поверил старику и велел продолжать земляные работы. Еще через полчаса работники ушли на глубину четырех метров, а голоса их на поверхности перестали слышать. Чтобы поднимать отработанную землю, соорудили даже самодельный кран с ведрами и рычагом силы, а число копателей увеличили вдвое. Но и час спустя никаких следов гроба писателя в земле обнаружено не было.

Стемнело. Лидин злился, но работ останавливать не велел, увеличив за собственный счет алкогольное вознаграждение работникам в четыре раза. Ни один человек не ушел с места ведения земляных работ, и только Анфимий пуще прежнего причитал и молился.

– Истинно говорю вам, до преисподней докопаетесь. Сатана посланника своего вниз, к себе утащил, – бормотал безумный старик, чем только сильнее злил ученого. Наконец, к полуночи гроб был обнаружен и, с величайшим трудом, поднят на поверхность. Вскрывать его команды не было, следовало водрузить его на авто и доставить на Новодевичье кладбище, где уж предадут его земле без участия посторонних, но вот беда – от старости или усилий, с которыми уставшие копатели молотили лопатами по земле, от гроба отошла крышка. В таком виде везти мощи русского классика было нельзя, и потому Лидин велел прибить ее по новой. Старики в ужасе разбежались, хватаясь за сердца.

– Нельзя, нельзя без священника отворять обитель зла сию…

– Где же я вам священника найду?! – злился и вопрошал Лидин. – Сами всех после закрытия монастыря разогнали да поубивали.

Вопрос был риторическим, крышку все-таки пришлось снять. Профессор был атеистом, героем Гражданской войны, и потому осенять себя крестным знамением ему не пристало, но и он не удержался от сего рудиментарного обычая, когда крышку подняли. Правы ли были старики, или кто-то в течение более, чем столетнего лежания здесь трупа все же решился нарушить его покой, а головы у трупа писателя, одетого в истлевший сюртук, не было…[3]

[3] Лидин В. Перенесение праха Н. В. Гоголя – ФЭБ, 1994.

Глава первая. Болезнь

Весна 1845 года, Малороссия

Поезд двигался медленно и, казалось, чем ближе подъезжал он к Киеву, тем более тихим становилось движение состава. Мерный стук колес располагал ко сну, но болезненное состояние Николая Васильевича не позволяло ему забыться в объятиях Морфея, да и периодические толчки на горках нарушали стабильность движения, вагоны раскачивались, сцепка дергалась, и сон сходил, но буквально ненадолго – очень скоро слабое, едва различимое движение снова наводило сон на истощенных ранней весной пассажиров. Пришла она в этом году и впрямь слишком рано, как будто без предупреждения, роль которого всегда исполнял март – он и прошел как-то быстро, и встречен был Николаем Васильевичем в Иерусалиме, где жара стоит круглый год, и потому знаменитое правило «марток – надевай сорок порток» было здесь неактуально. Резкий переход от зимы к теплому времени года способствовал перепаду температур в ослабленном зимними болезнями организме Николая Васильевича, что не могло положительно сказаться на его здоровье – в Палестине на него напала горячка, очень скоро превратившаяся в малярию по причине несвоевременного лечения. Оттого, возвращаясь сейчас в малороссийское тепло, что царило не только в имении его матери, но и за его обширными пределами, не мог он ощутить его в полной мере и насладиться, как это бывало прежде, в дни безмятежной юности его. Болезнь прогрессировала, а к лечению больной относился, что называется, спустя рукава, потому симптомы ее проявлялись все более. Снаружи тело его обдавало холодом, морозило, а изнутри жарило так, что сил не было. Николай Васильевич верил еще в глубине души, что родные места с их благоприятным климатом будут способствовать его выздоровлению, но вообще в последние дни думал о своем состоянии все меньше и меньше – апатия завладела им целиком еще там, в Иерусалиме. Быть может, болезнь таким способом проявляла себя, а может, просто он устал от своих мытарств и частого изменения жизненных обстоятельств, но напавшая на него меланхолия притупила как желание скорейшего выздоровления, так и желание жить вообще – во всяком случае, так он иногда думал. Мысли эти чаще стали появляться в более, чем некомфортном поезде, который вообще лишал душевного настроя и возможности сосредоточиться на чем-либо созидательном. Если бы не настояние слуги Семена и упрямые письма матери, беспокоящейся о состоянии здоровья сына, сил бы он не наскреб на эту поездку, которая даже после трехдневного путешествия по железной дороге была еще в середине своей.

Однако, не все было так плохо. Три дня мучительных разъездов все же подошли к концу – и вскоре за окнами замелькали знакомые киевские пейзажи, которые немного оживили утомленный и болезненный взор Николая Васильевича, и ему на мгновение даже показалось, что болезнь отступает и ему становится как будто легче. Прошло полчаса – и пассажир сошел на благодатную малороссийскую землю в главном городе этой удивительной земли. У станционного смотрителя сразу взяты были обывательские лошади, на которых и пришлось следовать ему весь путь до Полтавы. Минутное облегчение было лишь кажущимся – ибо следование даже не по дорогам, а по лесистым просекам в маленькой душной карете нездоровому человеку могло показаться еще более мучительным. Однако, поездка по железной дороге так утомила его, что, едва только сев в карету, которая первую часть пути следовала по мощеным киевским мостовым, ехать по которым в любое время года – одно удовольствие, он сразу заснул и проспал так до самого вечера, когда до Полтавы оставалось несколько десятков верст. Уставшему Николаю Васильевичу хотелось бы, чтобы остаток пути они проделали без остановок, и он скорее смог бы по-человечески отдохнуть в родных пенатах, но еще более уставший слуга настоял на том, чтобы ночь провести на постоялом дворе вблизи имения его матери. Сон несколько облегчил состояние больного, он стал добр и уступчив и потому согласился.

Сойдя с каретных подмостков, он вдохнул полной грудью тот чудесный чистый воздух, коего не было ни в заснеженном Петербурге, когда покидал его, ни в жарком и пыльном песчаном Иерусалиме. И впрямь, права была мать, когда говорила, что здесь болезнь наконец оставит его. Николай Васильевич улыбнулся, глядя на бегающих взад-вперед с его вещами слуг, которые размещали чемоданы в выделенной писателю комнате, на горящие костры и факелы, освещавшие темный двор так, что светло было, как днем, и вдыхая наряду со свежим воздухом Полтавщины запах жареных поросят и только что выгнанной горилки.

Скоро они с Семеном сидели уже за столом в шинке на постоялом дворе. Изголодавшийся с дороги и порядком уставший Семен ел от пуза и так же обильно пил, чего нельзя было сказать о Николае Васильевиче, который ел мало, так как опасался желудочного расстройства. Внутренности у него были и без того слабые, а тут еще эта болезнь совсем некстати. Хинин, который писатель был вынужден принимать и который, казалось, совсем не помогал от болезни, другого лекарства от которой просто не было выдумано, расстраивал кишечник, и переедание могло быть для писателя чревато. Однако, немного горилки он все же себе позволил. Обычно она действовала на него угнетающе и плохо, от нее сразу клонило в сон и тошнило, а сегодня едва отходящий от болезни Николай Васильевич сразу захмелел и даже повеселел после возлияния.

За соседним столом сидел бурсак, отправлявшийся домой на вакансии, в окружении каких-то казаков, тоже, по всей видимости, из дворни здешнего боярства. Они уже были порядком пьяны – ученики церковных школ, с малолетства воспитуемые только березовыми палками, при малейшей возможности напивались чернее государевой шляпы, чем немало расстроили сейчас взгляд набожного писателя. Меж тем, в этом был закон жизни, который великий Александр Иванович Герцен сформулировал как «правило пружины» – простой русский человек, измученный работой крестьянин или батрак, всю неделю ломавший да гнувший спину на хозяина, под конец седмицы распрямляется так, как распрямляется железная пружина, на которую сначала долго-долго давят, а после отпускают пресс. Выгибаясь в обратную сторону, бьет эта пружина всех, кого ни попадя – как может запросто ударить любого зеваку увлекшийся горилкой бурсак, – потому что знает, что уже утром снова терпеть ей этот гнет. Воспоминание о словах знаменитого философа заставило Николая Васильевича по-другому, с пониманием и даже некоторым сожалением посмотреть на пьющего, которого его товарищи все пытали:

– А я хочу знать, чему вас в бурсе учат?![4]

Писатель слушал их пьяную речь и понимал, что верно его предположение, сделанное по внешнему виду облаченного в жупан и стриженого на манер древни французских рыцарей школяра. Тот, хоть и был порядочно пьян, решил продемонстрировать свои умения – поставив полную чарку горилки на нос, наклонив голову назад на столько, на сколько хватало только возможностей, он вдруг резко выпрямился, чарка слетела с его лица, но была поймана его не менее проворными губами – и вмиг осушена да так, что, как говорил поэт, по усам текло, да в рот не попало.

Заулюлюкали, оценили его товарищи такое мастерство, и, несмотря на старый возраст свой, наперебой стали высказывать пожелания об устройстве собственной судьбы и разума:

– Я тоже пойду в бурсу!

– И я!

– И я – кто ж еще такому обучит, как не пан ректор?!

Громко смеялись, и не слышал за их смехом Николай Васильевич речи своего, обычно не умолкавшего, молодого слуги, а, когда повернул голову направо от себя, где сидел Семен, то увидел его спящего. Потряс его за рукав для приличия – не откликается, устал сильно. Николай Васильевич велел отнести слугу в людскую, а сам отправился к себе.

---

[4] Гоголь Н. В. Вий (сборник). М., Издательство: «Эксмо» 2014 г. ISBN: 978-5-699-69140-1

Сон не шел, он решил сотворить молитву, в которой вознести хвалу Господу. Болезнь, что настигла его в святом месте, не ослабила его веры, не сбила с пути истинного, на который он, как ему казалось, только-только начинает вставать после многолетних поисков себя. И никогда, ни в одном своем обращении к Господу, не просил он о своем здоровье, полагая его сугубо божьим промыслом и вообще недостойным каких-либо просьб.

Герб рода Яновских

«Конечно, католикам дается больше воли, в том числе в быту и обиходе, нежели, чем православным, – размышлял Николай Васильевич, стоя на коленях пред иконой в тускло освещенной, темной комнатке, выделенной ему хозяйкой постоялого двора для ночевки. – Но все равно вера их не вполне такая, какой задумывал истинное служение Господь наш. Более походит она на театральную игру, в которой у каждого – своя роль, свой удел, который напрямую зависит от социального твоего положения и кармана. А будет удел иным – и слова иными станут, и роль изменится. Не искренне, не живо. Иное дело вера наша, православная, которая мне, хоть по праву рождения и не положена, а все же исповедуется мной. Ну какой я Яновский? Я Гоголь, я русский человек, который и состоялся, и жизнь прожил, и прозрел в России, и не могу и не хочу от нее отрываться. Хоть и люблю Малороссию, а все же саму великую родину ни на нее, ни на что другое не променяю…»

Он осенял себя крестным знамением снова и снова, бился лбом в грязный пол постоялого двора, пока не начало светать, не утомился он окончательно и заснул, едва сумев дойти до кровати. Таким образом, планы Семена выехать пораньше, с петухами, были обречены – барин спал до самого обеда, а будить его, больного и все еще не собравшегося с силами, слуга считал невозможным. Воспользовавшись временем, слуга опохмелился, заложил карету, уложил в нее вещи барина и стал дожидаться его пробуждения под большой липой, что росла в самом центре двора, где обдувал его свежий весенний ветер, выгоняя из головы усталость и тяжелые мысли и наполняя ее мыслями светлыми.

Ах, и до чего же чудесная и славная эта земля – Малороссия! В ту пору, когда природа сбрасывает с себя оковы зимы и зацветает вся, благоухает торжеством весны и обновления всего живого, что ходит по земле, растет на ней, питается ее соками, любому, кто приедет сюда, покажется на время, что он попал в рай еще при жизни. Не увидеть здесь однообразия черноземной Руси, ее похожих друг на друга степных равнин, раскинувшихся на сотни верст, ее одинаковых деревьев, ее узких и извилистых рек. Каждая верста, что проедешь ты, пока следуешь по Малороссии, не похожа на другую – и каждая по-своему прекрасна. Словно в волшебной стране оказался Николай Васильевич, одно созерцание которой изгоняло мысли о болезни, и сама она отступала не по дням, а по часам – вот уж правду говорят, что вся болезнь только и сосредоточена, что в головах наших, и только оттуда руководит нашим организмом и сознанием, делая их словно бы зависимыми от нее. А коснись излечения интеллектуального, мысленного – как сразу болезнь наружняя отступит, не оставив о себе скверного напоминания, пока схожие пейзажи вновь не внушат его человеку, единожды заболевшему в каких-нибудь недобрых краях.

– Николенька, наконец-то! Как же заждалась…

Мать Николая Васильевича, Мария Яновна, была женщиной кроткого нрава – во многом, наверное, потому, что покойный отец его таковым не отличался. Он был мужчина резкий, властный, сложно шедший на уступки – то говорили в нем его корни польского происхождения, да и дворянская кровь не позволяла быть добрым и степенным, хоть и располагали к этому дивные по красоте и доброте своей полтавские места. Но располагали они только Николая Васильевича, который с детства не пользовался особым отцовским расположением по причине мягкости характера и порожденным ею сходством с матерью. Потому, наверное, мальчиком еще он оставил родную свою Малороссию и уехал сначала учиться, а потом и устраивать судьбу в Петербурге, не отыскав средств и времени посетить прощание со своим знатным родителем. Разъединенный с корнями, с пупом своим, здесь, в этой земле захороненным, он стал подвержен мытарствам и поискам себя – и до сравнительно недавнего времени не мог это собственное «я» отыскать. За что бы он ни брался, все казалось ему чуждым, ни к чему не лежали ни руки, ни душа, и потому он часто отчаивался и оставлял свои занятия. Приехав же сюда после долгих лет странствий, он словно телом начал понимать, что только тут обретает он гармонию.

Мать Гоголя, Мария Яновна

Горячо обняв маменьку, он едва не расплакался.

– Так счастлив я, так рад этому возвращению…

– А сколько я тебя уговаривала и писала то же самое?! Нет ведь, упрямство Яновских, как видно, покоя не давало.

– Все думал найду себя там…

– Ну ладно, проходи скорее в дом, там поговорим.

Когда они сидели за столом за наскоро сооруженным обедом, а Семен вовсю беседовал со своим давним приятелем – здешним молодым кучером Вакулой, – Мария Яновна стала расспрашивать сына о поездке, которая наделала столько шуму и была, как видно, для него весьма значимым событием.

Отец Гоголя, Василий Иванович

– И как же ты съездил? Что нового открыл для себя в столь священном для всех христиан месте? Ну, разумеется, кроме болезни, – пошутила Мария Яновна.

– Многое. Как мне сейчас кажется, я наконец нашел, что искал.

– В 36 лет? Не поздновато ли?

– Ну что ты, – рассмеялся Николай. – Иные и всю жизнь не находят. А иным для этого требуется куда больше времени. Вспомни знаменитых старцев, отшельников.

– Если уж заговорил о нем, стало быть..?

– Да. Я решил если не посвятить всю жизнь свою услужению Господу, то, во всяком случае, значительно пересмотреть свои взгляды и стараться быть более богопослушным.

– Это болезнь на тебя так повлияла? Тамошний климат?

– Думается, что нет.

– Но ведь ты же писатель, тебе сложно будет с твоим пониманием этого мира, с твоим злым и замечательным во всех отношениях пером, вдруг взять и отправиться в путь, благословенный Господом. Ты же понимаешь, что он налагает множество запретов и ограничений? Как с этим быть?

– Думаю, что трудности только приумножают желание истинно верующего следовать прямым путем. Конечно, их придется преодолевать, но как без этого?

– И все-таки я не понимаю, как простое созерцание мощей может произвести столько сильное впечатление на писателя – человека, видевшего и понимающего многое?..

– Дело здесь не в простом созерцании. Вот, – Николай достал из-за пазухи носовой платок, развернул его и продемонстрировал Марии Яновне маленький ржавый предмет, похожий на наконечник от копья.

– Что это?

– Говорят, именно этим копьем был заколот Христос. Легионер Гай Кассий Лонгин заколол его, чтобы облегчить его муки на кресте…

Мать писателя побелела. Ей явно сделалось дурно.

– Что с тобой?

– Нет, ничего. Только, мне кажется, будто писали, что прежде это копье уж находили какие-то францисканские монахи или средневековые рыцари. Я читала об этом еще в своей юности в переводных романах.

– Я говорил со многими знатоками, они утверждают, что отысканное прежде копье есть выдумка. Вот – настоящее.

– И ты так легко поверил?

– В столь святых местах верой пронизано все. Нет там той лжи, что нам свойственна и нами исповедуется почище любой религии. Да и потом проверять не было времени. Найдя это недалеко от Гроба Господня, я вскорости заболел и встречи мои с посторонними людьми пришлось ограничить. Так что чем богат, тем и рад.

– Думаю, тебе надо поделиться этим с дядюшкой.

– С Иваном Афанасьевичем? – родной брат покойного отца писателя жил в нескольких верстах от их имения. Всю жизнь свою он славился еще большей, чем у Василия Афанасьевича, жесткостью и своенравностью, а потому еще с детства не вызывал у Николая сколько-нибудь теплых чувств. Меж тем, приехать спустя столько лет к матери и не повидать родную кровь, единственного живущего брата собственного отца, было бы непочтительно по отношению к нему.

– Понимаю, что ты ехать сразу не захочешь, но должна тебя немного порадовать. Помнишь ли ты его дочь, Александру?

– Смутно, еще ребенком.

– Она выросла и теперь совершенная невеста…

– Мама, ведь она – моя кузина!

– Ну и что? Я вовсе не имела в виду ничего предосудительного. Просто мне кажется, что вы нашли бы с нею общий язык. Отправимся к нему завтра утром, а пока отдохни. Ты устал с дороги, да и слаб еще.

Николай Васильевич последовал маминому совету, а уже утром, скоро заложив коляску, отправились они в имение Ивана Яновского.

О характере его можно было судить по одной только детали – когда они приехали, он не сразу вышел их встречать. Отправившаяся в разведку Мария Яновна вскоре вернулась и сообщила, что он немного занят, ибо порет провинившегося в чем-то крестьянина, но велел им проходить и обещал скоро предстать пред их ясные очи. Так и случилось – вскоре он появился в сопровождении своей изумительно красивой дочери Александры Ивановны.

Николай посмотрел на сестру и обомлел. В его жизни был опыт любовного увлечения, но мелкий, практически ничтожный, и который больно ранил его невозможностью продолжения отношений с объектом своего поклонения- она была замужем, и любое случайное упоминание ее имени могло нанести ей вред, чего бы Николай желал в меньшей степени. Это молчание стало одной из причин его мытарств и, в итоге, обращения к Богу, но разве мог он смотреть на сестру с теми же чувствами, какие ее тезка в свое время возбудила в его душе? Ведь она – сестра ему? Но можно ли было смотреть на нее всего лишь как на женщину и дальнюю родственницу? Любой, кто встретил бы ее, и кто был бы при этом в здравом уме, ответил – никогда.

Казалось, на этой удивительной плодородной земле и не родятся другие. Белая кожа Александры в сочетании с иссиня-черными бровями и правильностью и умеренностью всех пропорций, которые от природы должны быть присущи женщине, делали из нее ожившую Галатею, совершенную и оттого прекрасную во всех отношениях. Видимые на прекрасном челе черты украинки сочетались каким-то магическим образом с кротостью ее, горящий огнем взгляд, присущий титкам, гармонировал с ладной косою и милой улыбкою, от которых нельзя было отвести глаз. Пушкин сказал про таких: «Они сошлись – волна и камень, стихи и проза, лед и пламень…» Никого прекраснее нее не видал Николай за всю жизнь и только, ловя себя на мыслях этих, отмечал, что он, пожалуй, слишком влюбился после длительного отсутствия в родных местах во все родное, что было в них, и что сосредотачивалось мистическим образом в этой совершенно прекрасной, без изъян, молодой женщине.

– Однако, – только и смог произнести он, припадая к руке кузины. – Определенно, или я слишком долго пробыл в отдалении от сих славных мест, и вы успели так похорошеть, или впрямь детство не дает точного представления о женской красоте, как не дает представления о предательстве, лжи или убийстве как о неотъемлемых чертах нашего мира.

Она в ответ ему рассмеялась:

– Определенно, ты или слишком долго прожил вдали отсюда, или слишком начитался мудреных петербургских книг, что не желаешь называть на «ты» сестры своей, с которой в детстве играл под вон той липою в батином саду.

– Прости, это я от смущения, – зарделся Гоголь. – Не каждый день такую красу встретишь. Очевидно, от женихов отбоя нет.

– Эээ, – протянул Иван Яновский. – Я тебе после расскажу, какие тут женихи. Нам таких даром не надо. Скажи-ка лучше, как с этим делом в Петербурге обстоит?

– С женихами-то? Думается, сносно, только и там достойных такой красоты лично я почти не знаю. Разве Пушкин – да и тот почил в бозе, царствие ему небесное.

– Полно, господа, – отмахнулась Александра. – Как забавно это слушать, что вы без меня меня женили. Рано мне об этом еще думать, да и мысли такие не посещают меня.

– О чем же думает столь светлая и красивая голова? – поинтересовался Николай.

– Все больше о петербургской жизни. Батя прав, здесь часы замирают – и не только те, что на стене висят, но и что внутри каждого человека отсчитывают его минуты, ускоряя обветшание всякого, кто ходит по этой грешной земле.

– Однако, думаю, что и там часы Господни не сильно отличаются от здешних. Разве замедлит их ход ничтожный по природе своей человек?

– Да, но одно дело медленно тлеть в болоте и другое – ярко гореть на центральной улице прекрасного города, освещая путь всем и вся, – мечтательно отвечала Александра, хоть и обвинившая Николая в любви к чтению, но и сама не уступавшая ему в этом.

– Здесь дело не в месте, а в человеке. Еще русская пословица об этом говорит. Поверь мне, там тоже тлеют. А вот если ярко горишь, если свет твой быстр и ослепителен, то и из самого дальнего лесного уголка можно будет увидеть тебя и в Париже.

– Мудрено рассуждаете, господа читатели, – скептически процедил Иван. – Такое общество явно не для нас, а, Мария? Так что мы пойдем сыграем в вист, а вы присоединяйтесь, если надумаете. Только чур – не умничать! Это уж для себя оставьте.

– Не будем, если только перестанете сечь крестьян или хотя бы объясните причину такого поведения, – хлестко отвечал Гоголь.

– Еще чего?! Мало я их секу, больше надо! Наш мужик только такое понимает, только кнут! Чем больше, тем лучше работает. А как только немного расповадишь, немного отпустишь поводья – гляди и на шею залезет, и ноги свесит, и повезешь. А не повезешь – так он тебе таких батогов всыпет, что мало не покажется! И между прочим, будет прав, ибо по заслугам и честь.

– Вот тебе раз! А как же христианское человеколюбие?

– Так то ж к людям. А это так, скот, – отмахнулся Яновский.

– Ну полно тебе, Иван Афанасьевич, – потянула его за рукав Мария Яновна. – Мы с тобой помнится, не доиграли партию, а молодым людям и впрямь есть чем поинтереснее заняться, чем твои садистские нотации слушать.

Они ушли, а молодые – хотя Николай Васильевич и был старше Саши почти на 10 лет, а все же в ее компании почувствовал себя моложе и практически совсем здоровым – остались в саду Яновских. Воздух крайне положительно влиял на шаткое здоровье писателя, и потому он предпочитал так проводить больше времени, чем в закрытом пространстве, которые и без того с самого Иерусалима его немало утомили.

– Признаться, я не узнал тебя при встрече.

– Что ж в этом удивительного? – улыбаясь, спрашивала Александра. – Столько лет прошло…

– Расскажи о себе.

– А что рассказывать? И без слов все видно, кругом и всюду одна тоска. Так и жизнь, глядишь, пройдет безвозвратно. Лучше ты расскажи о Петербурге, – сказала она мечтательно. Слово «Петербург» произнесла она с таким особым придыханием, как произносят его молодые провинциальные барышни, чьи мысли и чувства целиком сосредоточены на петровской столице, с которой они связывают надежды, кои, впрочем, имеют обыкновение рушиться при первом знакомстве с этим городом. Николай добрыми глазами посмотрел на кузину и улыбнулся. Они добрались почти до самой глубины сада, до старых качелей, которые на удивление вспомнил молодой писатель. Он усадил на них собеседницу и начал.

Беседа обещала быть долгой и интересной – вот только проходившие мимо или таившиеся по кустам крестьяне Яновского не давали ему покоя и периодически мешали сосредоточиться. Он ловил на себе их злые взгляды и искренне недоумевал, что он-то им сделал такого, что заставляет их испепелять его взором своим. Списав, однако, их на общую неприязнь ко всему дворянскому сословию и, в особенности, к той его части, что носит фамилию Яновские, Гоголь еще раз мысленно осудил дядьку за жестокость. Но скверные мысли и чувства сегодня не держались долго в голове – в таком обществе преступно таить их.

Глава вторая. Бастард

Качели медленно раскачивались, влекомые рукой писателя, а сидевшая в них Александра мечтательно смотрела в глаза кузена и задавала так сильно интересующие ее вопросы.

– Так, значит, ты считаешь, что жизнь в Петербурге мало отличается от здешней?

– Я считаю, что жизнь более протекает внутри человека, чем вокруг него – кстати, ученые тоже так считают. И потому то, что происходит извне, во многом определяется тем, что происходит внутри индивида. Место особого значения не имеет и уж никак не может наполнить человека содержанием, если у него оного от рождения нет. Лет десять назад я сам думал как ты. А сейчас, приехав сюда, вижу, что мест красивее отродясь не видал!.. Красивее и романтичнее. И оттого подумываю уже приступить к сбору материала для очередного сборника повестей из жизни Малороссии. Ехал лечиться, а сейчас вот разговариваю с тобой и понимаю, что такого, как могу написать здесь, нигде и ни за что более не напишу…

– Ты так говоришь, потому что много, где был. И в Италии, и вот в Иерусалиме…

– Италия это да… К Италии я навеки прикипел сердцем. И, хоть похожа она на нашу Россию, и друзей там живет много, в том числе и русских, а все-таки – не Россия.

– Даром ли тебе, что тут я на веки вечные в девках останусь?

– Что или кто тебе мешает? Посмотри, сколько хлопцев вокруг!

– Это все не то. Мой идеал сошел со страниц петербургских романов, – мечтательно воздела она глаза к небу.

– Тогда вынужден тебя разочаровать. Там вероятность встретить его близится к нулю. Вымысел все это, прах, и оттого так популярен у барышень, в том числе петербургских, что нет его в пределах этого стольного града.

– Так уж и нет? А как же Онегин, Ленский?

– Или мой Хлестаков, да? Конечно, Пушкин во многом с себя списал твоих героев, только где он теперь? Близящийся к мечте идеал так нечеток, так призрачен, что, даже если появляется в миру, то живет, как правило, недолго.

– А ты? Что ты думаешь о женитьбе?

От такого вопроса писатель раскраснелся и потупил взор.

– Как видно, это не мое. Прежде, чем строить дом, надобен основательный фундамент, а я толком развязку своего существования найти не могу – так чем мне привлечь, заинтересовать, и как обещать оплот той, что станет моей избранницею?

– А как же поездка в Иерусалим? Батя говорил, что она значительно тебя изменила, что теперь ты не такой, как раньше.

– Любой, кто хоть раз побывает в таких местах, прежним не будет уже никогда… А между тем, это положительно интересно – я только что впервые увидел его со дня моего давнего отъезда из Малороссии, а он уже наделал про меня не весть, каких выводов!

– Они часто встречаются с Марией Яновной, она читает ему твои письма. Оттуда и такие выводы!

Гоголь раскачивал качели и все время ловил на спине взгляды проходящих мимо крестьян. Они смотрели на них как на волков в человеческом обличье или словно призрак увидали – какое-то животное презрение сочеталось в них со страхом, что внушала им картина невинно беседующих брата и сестры. Со стороны могли эти люди показаться дикими, но Николай списывал все на свою излишнюю впечатлительность, вызванную болезнью – он последнее время практически не общался с людьми, и оттого неосторожно брошенный взгляд мог показаться ему странным или даже оскорбительным.

– Из речи твоей следует будто бы какая-то нелюбовь к Петербургу и живущему там высшему обществу…

– А за что его любить?

– Право, несколько непривычно слушать критику в адрес петербургского высшего общества от автора «Ревизора» и «Мертвых душ», – задумчиво протянула Александра.

– Почему? Ты считаешь, что мои произведения не есть главнейшая критика?

– По-моему, любое крупное произведение столичного писателя, который и сам часть того общества, о котором пишет, есть не более, чем попытка привлечь к себе внимание. Я думаю, никто в глубине души не разделяет того, что написано и только упивается славой, что порождается этими книгами —мол, вот он какой замечательный и прекрасный, давайте еще выше вознесем его над собою. Как говорится, ради красного словца…

– О как! – присвистнул Николай Васильевич. – В первый раз сталкиваюсь с такой оценкой собственного творчества.

– Речь не о твоем творчестве, милый братец, а о творчестве всех твоих товарищей, которые мастерски поливают грязью все, что видят. Всяк кулик свое болото…

– Пусть так, но ты обвиняешь нас во лжи! Это несправедливо!

– Ой ли?! Поэт всегда лжец, разве не об этом трактует твоя религия, в которую ты так отчаянно влюбился после Иерусалима?

– Ее центральная суть не в этом, – Николай вмиг посерьезнел.

– А в чем?

– В том, что смерть Христа стала искуплением всех грехов за всех живущих. Конечно, ложь есть грех, но, если мыслить в планетарном масштабе, Христос уже искупил основную часть наших грехов.

– И это значит, что можно грешить снова?

– Нет, разумеется, но слова моих книг намного менее можно назвать ложью, чем слова десятков и сотен других, написанных с приснопамятных времен. Беда моя как писателя состоит вовсе не во лжи, которая есть не более, чем литературный вымысел, а в том, что писал я не то, что должно.

– А что должно?

– Должно не резко обличать общественные пороки, а прежде воспитать в людях, как в детях, лаской и добрым словом те высокие моральные и нравственные принципы, что проповедует церковь, а уж после чувствовать себя вправе пригвождать кого бы то ни было к позорному столбу. Человек наш с течением времени деградирует, забывает истинное предназначение и истинную суть служения – возьми хотя бы меня. Сколько я себя искал? И потом – обязательно ли было посещать Иерусалим для того, чтобы увериться в том, что и без того известно любому ребенку?!

– И потому ты намерен полностью изменить свое творчество?

– А, если потребуется, и вовсе отказаться от написания книг. Сжечь все, ранее написанное, и забыть о поисках дороги в полной темноте жизни, которой окружил я себя волею обстоятельств, чтобы отдать себя целиком служению свету…

– Свету от костра, в котором сгорят книги? Думаю, ты торопишься. Как бы опять это решение не разбилось о поиски твоих метаний…

– Однако, ты и впрямь слишком умна для своих лет и этих мест. И потому меня интересует твое мнение по одному вопросу…

– По какому?

– Как ты относишься к поведению твоего отца в отношении его крепостных?

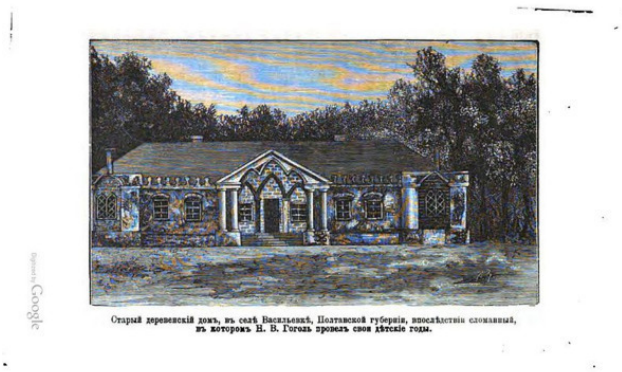
– Понимаю, о чем ты, – всматриваясь глубоко в глаза собеседника, отвечала Александра. – Но мне сложно судить. Во-первых, он мой отец, а во-вторых, я выросла в такой обстановке. Для меня все это более привычно, чем для тебя петербургская жизнь. Хотя… конечно, одобрить такого нельзя. Какие-никакие, а это люди!

– Именно. Именно этих слов я ждал от тебя! Библия говорит о всеобщем равенстве и недопустимости такого попрания личности, которое видел я не только от Ивана Афанасьевича, но и от других ему подобных помещиков. И, когда я пытался вразумлять этих доморощенных изуверов, почти всегда сталкивался с непониманием или нежеланием понимать. Иначе обстояло дело с молодыми помещиками (которые, впрочем, тоже превратятся в старых, закостенеют и станут исповедовать те же принципы, но чуть позже). Они охотнее слушали меня и соглашались со мной – так же, как только что согласилась ты, хотя отец твой едва мне самому не отвесил сто горячих за такое человеколюбие.

– И что из этого проистекает?

– Проистекает из этого то чудовищное разложение, которое свойственно старости. Могила человечнее нее – на могиле хотя бы напишется: «Здесь погребен человек». Но нет ничего суровее жестоких, холодных черт бесчеловечной старости. Как отвратительна и пугающа ее личина, и главный ужас состоит в том, что она совершенно неотвратима ни для кого. Забирайте же, выходя из прекрасных, добрых, светлых юношеских лет в суровое, ожесточающее мужество, все свойственные тем годам замечательные порывы, не оставляйте их на дороге – не подымете потом![5]

Вот только правду ли говорила Александра, так ли она в самом деле относилась к крестьянам, как сказала Николаю – в этом он усомнился, но не сегодня, не в первый день встречи, когда ее очарование заставило видавшего виды брата на минуту потерять дар речи и задуматься о том, правильно ли он поступает, обрекая себя на обет безбрачия. А на следующий день, приехав снова в имение Ивана Яновского, к которому не питал особого расположения еще с детства.



Старый деревенскій домъ, въ селѣ Васильевкѣ, Полтавской губерніи, впослѣдствіи сломанный, въ которомъ Н. В. Гоголь провелъ свои дѣтскіе годы.

Старый дом Гоголя

Лишним будет говорить, что Мария Яновна оказалась права – в среде людей пожилых, живущих здесь давно и основательно, встреча двоих молодых людей сыграла для них решающую, даже роковую роль, тем более, что они как нельзя лучше отыскали друг в друге то, что давно искали в других: Александра Ивановна – опытного и разумного собеседника, на правах старшего внушающего ей некие прописные истины; а Николай Васильевич – благодарного слушателя, из которого можно было еще слепить нечто по образу и подобию того лучшего, чего ему так не хватало в жизни и в себе самом. Встречи их стали частыми, почти ежедневными.

Во время встреч этих Николаю уж не так стали бросаться в глаза те взгляды, что посылали двум молодым и счастливым людям крестьяне – в конце концов, говорила Александра, и где-то Николай Васильевич был солидарен с нею, они просто завидуют, будучи не в силах вырваться из оков рабского труда и чувствуя оттого себя униженными и оскорбленными, но зависть это

[5] Гоголь Н. В. Мертвые души (поэма). М., «АСТ» 2017 г. ISBN: 978-5-17-103809-0

грех. Потому не следует так много времени заниматься ими, особенно учитывая, что Александре этого не очень-то и хотелось. Николай стал замечать за ней странные, хотя вполне объяснимые ее происхождением вещи.

Началось все с того, что он обнаружил среди крестьян Ивана Яновского своего недавнего знакомца – того самого бурсака, что в шинке на постоялом дворе недалеко от Винницы так ловко пил из чарки горилку. Молодой, сильный, красивый парень, он тоже посылал Гоголю и Александре свои недвусмысленные взгляды, но в основном они касались все же девицы – это было и понятно.

– Кто он? – в очередной свой приезд увидев молодого бурсака не отходящим от Александры, поинтересовался Николай Васильевич. – Одет вроде прилично, не похож на дядькину дворню.

– Это Хома Брут. Он из наших крестьян и обучается, не без батькиной помощи, в бурсе, что в Киеве. Вот приехал на вакансии, мать попроведать…

– …и тебя заодно!

– Что я слышу, господин писатель? Уж не ревность ли говорит вашим голосом?

– Что за ерунда?! Просто странно, что он не отходит от тебя и во всякую минуту, что мы проводим вдвоем, посылает тебе весьма недвусмысленные взгляды…

– Брось. Он всего лишь батрак батькин, какие могут быть между нами отношения?

– В любви, как показывает история, социальное равенство не всегда является главенствующим. Да и вся литература, которую ты так любишь, об этом говорит. А вообще-то – от нелюбви до любви один шаг. Хоть я вижу презрение в твоих глазах и когда он рядом, и когда просто смотрит на тебя, и когда говорим мы о нем, все же отношение это вполне может перерасти в нечто большее и существенно иное…

– Уж не пророком ли ты сделался после Иерусалима?

– Прав был великий Пушкин, что нет пророка в своем Отечестве. Просто я старше и жизнь знаю больше.

Эти слова так запали в душу Александры Ивановны, что на протяжении следующих нескольких встреч она всем видом показывала брату, что Хома – скорее ее вещь, нежели, чем человек, которого она сколько-нибудь уважает. Он влюбился в нее, чего она уже не могла да и не хотела скрывать, и она, как всякая женщина, пользуясь этим, не желала все же разорвать той невидимой связи с неведомым, но влекущим ее неотвратимо петербургским миром, что олицетворял для нее Николай Васильевич.

В один из приездов писатель с ужасом и удивлением увидал, как молодая барыня каталась верхом на Бруте. Увидев приехавшего писателя, который едва не лишился от такого зрелища дара речи, Хома ретировался, оставляя молодых наедине.

– Что же это? – с нескрываемым удивлением спросил Гоголь.

– Говорю тебе, он всего лишь вещь. Да ему и нравится такое.

– И как ты поняла? Как такое вообще может нравиться кому бы то ни было?

– Захожу сегодня на конюшню, а он там. Разговорились. И так он стал на меня пристально смотреть, что я решила над ним подшутить. Дай, говорю, поставлю я на тебя свою ножку. А он мне в ответ: «Чего же только ножку? Садись на меня сама верхом». Ну а мне, что, упрашивать себя прикажешь? Изволь, я и села. Повеселились и не более. Пусть не мечтает там себе, мне такие без надобности.

– Да, – задумчиво протянул писатель. – Отдал Христос за нас свою душу, искупая наши грехи, а мы вот так…

– Да что я такого предосудительного сделала, что ты меня уже во вселенские грешницы записываешь? – Александра говорила обиженно, надув губы, и, глядя на нее, писатель понимал, что женщина есть женщина. Достаточно провести с ней несколько дней, как она уже нафантазировала о тебе в своей голове не Бог весть чего, уже смотрит на тебя почти как

на мужа, и потому всякое подозрение из твоих уст начинает живо и больно ранить ее. Он улыбнулся и поспешил перевести тему:

– Я вовсе не о тебе. Видишь ли, я думаю о центральной сути Христова учения, которое, как мы уже с тобой говорили, состоит в том, что за наши грехи, грехи наших отцов и детей Христос расплатился жизнью своей. О смерти его известно, что, будучи распятым, он пал от копья легионера Лонгина, который желал облегчить ему муки и потому заколол. Но вот, что я думаю – делал ли Лонгин благо, убивая Спасителя? Мог и желал ли Пилат пересмотреть вынесенный Ему приговор? И что было бы, останься он в живых?

– По твоей логике, наши грехи остались бы не прощенными…

– Да, но Спаситель был бы жив, и вся жизнь оттого преобразилась бы.

– Но почему ты думаешь об этом? Уж не дурак ли Хома Брут навел тебя на такие мысли?

– Вовсе нет. Видишь ли, во время путешествия в Иерусалим я отыскал наконечник копья, которое многие там и приписывают Лонгину… Вот он, – писатель достал из-за пазухи сверток и показал его Александре.

– Удивительно, – прошептала она, поводя рукой над находкой брата. – Как это удивительно и прекрасно – прикоснуться к истории столь давних времен и почувствовать себя причастным к этому… Как будто двух тысяч лет и не бывало…

В эту минуту Николай снова поймал на себе чей-то гневный взгляд. Обернувшись, он увидел позади себя Семена. Теперь и он одаривал молодых взглядами позора и презрения. Не выдержав его выпада, писатель отволок его в глубину сада и спросил в лицо:

– Послушай. Чего это ты и вся здешняя дворня так смотрите на нас, будто мы вам всю жизнь испортили, а?

– Нет, батюшка барин, – отвечал Семен, – что хотите со мной делайте, а я вам всю правду скажу. Недобрый и нехороший он человек.

– Кто?

– Дядюшка ваш, Иван Афанасьевич. Поговорил я с дворней, с поварами, с кучерами, да с кем только ни разговаривал я все дни эти и все в один голос говорят: негодяй и сатрап. Людей бьет, истязает почем зря, может и до смерти забить или зарезать. Со многими беглыми крестьянами так поступал. А куда им деваться от такого-то обращения? Только бежать и остается, хотя и знают, что цена высока – а все же здешнюю платить еще дороже выходит. Негодяй он, точно вам говорю. Пусть и неприятно вам это, пусть и родная вы ему кровь, а только скажу, и можете хоть сечь меня, а хоть и вовсе отдать ему на растерзание. Чего там, вы писатель, для вас правда должна быть дороже, а я ни словом, ни звуком не совру, ежели говорю вам, то так оно и есть.

– Положим, я не слепой и сам видел все то, о чем ты так горячо распинаешься. Но разве в этом состоял мой вопрос? Разве этой вот правды, хоть и ценимой мною, но не относимой к делу, желал я от тебя услышать? Или неразумный ты и маломысленный человек? Или горилка так на тебя действует?

– Нет, ваше благородие, я человек разумный, хоть и молодой, и вы это знаете. И правду я вам скажу, именно ту, которую вы услышать хотели, но сказать то, что я сказал, непременно надо было именно сейчас. Потому как в ином случае вы бы точно разгневались и велели бы сечь меня. Да и, правду сказать, узнал я нечто совсем недавно, когда уж видел и имел представление о господине Яновском.

– Так что же ты узнал? – Семен говорил так витиевато и сложно, что Гоголь даже задумался, не тронулся ли тот умом.

– Все видят, что вы с молодой барыней Яновской ни на минуту не расстаетесь, что все время вместе проводите.

– И что? Грешно это? Она ведь моя сестра, прошу не забывать, и не виделись мы с ней много лет. Так что же в этом предосудительного?

– Да вот только говорят, что смотрите вы на нее совсем не как на сестру, да и она на вас – не как на брата.

– А как же? – Гоголь уже понимал ответ, но ему важно было вытянуть из Семена все до последнего слова.

– Как влюбленные. Хотя и нет греха, ежели двоюродная, неполнокровная сестра с братом в отношения вступает, да вот только поговаривают… будто родня вы по крови.

– Что за ерунда? Как это?

– Я и сам не верю, только говорят, будто маменька ваша еще при жизни Василия Афанасьевича с крутым нравом его брата сладить не смогла, да и… Василий Афанасьевич, упокой Господь его душу, всегда был добр ко мне, и я и мысли такой допустить не могу, только вот вы сами спросили. И потому выходит, будто родственники вы самые, что ни на есть, прямые, а связь между вами… греховная. Вот и смотрят на вас так, будто чертей увидали.

– Так. Очень интересно. А что еще говорит твоя милая дворня?

– Вы напрасно ее милой ругаете. Дыма-то без огня не бывает. Так и говорят, что всю жизнь знавший об этом Василий Афанасьевич жить-то с этим не мог, да будто бы и сам отдал Богу душу. А еще хуже – может, брат-то родной и помог ему. Верить в такое трудно, да и чего не придумают люди от безделья, да темноты, что в здешних краях царит. Только в то, что Иван Афанасьевич мог брата своего к праотцам отправить, я каким-то тайным умом верю – вижу, как неоправданно жесток и суров он к людям, и потому представляю и как будто сильнее его ненавижу.

– Как-то странно. Речь вроде шла обо мне, так почему ты начал-то именно с Яновского? Он каким боком здесь?

– Я так рассудил. Богу – богово, и нам знать того невозможно, что на самом деле происходило перед вашим рождением, да и после, когда ушел от нас Василий Афанасьевич, добрый и прекрасный человек. И, если вдруг по божьему промыслу и разумению станется так, что вы – его сын, о чем я вас только что уведомил, как бы я стал вам рассказывать гадости про родителя вашего? Вдруг бы вы поверили в это и осерчали на меня еще пуще за правду, которая внутри меня огнем горит, как наружу просится? А так выходит, что я вам вперед рассказал, что думал и видел, а уж после о родстве вашем возможном. Значит, я не отца вашего обругал зазря, а только дядьку, о котором вы и разумения не имели столько лет, пока в Петербурге жили. Потому и выходит, как будто не за что вам особо меня ругать…

Философия Семена несколько повеселила писателя, но сильно насторожило его сказанное им, пусть даже это и было всего лишь слухи. Изможденный болезнью и переездами организм писателя не был еще готов к тому, чтобы здесь, в родных своих пенатах, подобными откровениями плевали ему в лицо, потому слова эти произвели на Николая Васильевича грустное, угнетающее воздействие. Видя, что он спал с лица после очередного возвращения из поместья Яновского, Мария Яновна решила осведомиться у сына о причинах его смурного настроения.

– Скажи, – писатель решился заговорить с матерью откровенно, – а какие отношения связывали вас все годы, что отца нет на свете, с Иваном Афанасьевым?

– Обычные, родственные, – несколько волнуясь, отвечала мать. Он не ожидал другого ответа, больше его занимала ее реакция на те слова, что будут им сейчас сказаны. – А почему ты спрашиваешь?

– Просто говорят, будто вы состояли в интимной связи, да еще и при жизни отца. А еще говорят, что я внебрачный сын Ивана. Это так?

– Господи, откуда ты только нахватался подобных глупостей?

– Дворня говорит, а дыма без огня, как известно, не бывает.

– Эту дворню Иван сечет, да мало. Следовало бы еще, как раньше, на колья сажать для ума. Наговорят черт знает что, а ты и поверишь. Ты, Николенька, слишком мало жил у нас,

не знаешь здешний народец. Это с виду он добрый и покладистый, а чуть копни – греха не оберешься. Советую тебе поскорее выбросить эти мысли из головы, ибо они ложь и дрянь. А дрянные мысли приводят в ад – ты ведь у нас теперь человек религиозный…

Мария Яновна шутила, и писатель быстро подхватил ее шутку, но в глубине души его засела реакция матери на эти, не стоящие выеденного яйца, слухи. Они разозлили и очевидно взволновали ее. На пустом месте такого бы не было. Терзаемый предположениями и неразрешимыми сомнениями, писатель в эту ночь тщетно пытался уснуть – веки его сомкнулись только, когда первые петухи в округе заголосили утреннюю свою песню. Снова перепутался у него день с ночью, что не сулило его не окрепшему здоровью ничего хорошего.

Глава третья. Душа поэтов

Всякий раз, когда приезжал Николай Васильевич в имение Ивана Яновского, он волей-неволей заставал Хому Брута в компании Александры. Так уж сложились обстоятельства, что вернулись они в родные пенаты одновременно – и оба на побывку. И из двух этих заезжих земляков Александра предпочитала Хому по вполне понятной причине – наследница рода Яновских, дерзких и себялюбивых, дочь своего отца, она предпочитала не подчиняться мужчине, не меркнуть на его фоне, а выделяться на нем и командовать. И, хоть Хома при виде писателя всякий раз ретировался и исчезал, настроения это Николаю Васильевичу не добавляло. Он все чаще думал о том, что симпатия его к сестре беспочвенна, и она всегда будет отдавать предпочтение крестьянину, хоть и не свяжет с ним своей судьбы, а все же властителем ее дум не этот, так другой Хома будет всегда.

Тарас Шевченко

«Что ж с этим поделаешь? Что с этим вообще можно поделать? И надо ли? Ведь каждому круг дается по изъявлению Господа – зачастую мы не вольны выбирать свое общество. Так не прижился я в Петербурге, как прижились здесь Александра и Хома, и всегда будут вместе,

и разбивать их толку нет. Можно добиться того, чтобы она отставила бурсака, выгнала из своей памяти – но подсознание ее всегда будет здесь. Так уж вышло, поздно теперь, и возраст у нее не тот, чтобы порывать ту связь с родной землей, которую я порвал, будучи мальчиком, – думал писатель. – С одной стороны, ясно, что пары из этого мезальянса не выйдет. А с другой – ведь, если человеку что-то мило, то кто сказал, что и другому должно быть мило то же самое? Всегда ли черным является на деле то, что нам видится черным? Может ли другой человек видеть иначе? А кто разрешит этот спор? Только Господь. Ему одному ведомо, что в действительности является для человека благом, а что – злом. Так что же может наш утлый разум в сравнении с Разумом Высшим? Конечно, эмоций у нас не отнять – и реагировать на Его проявления мы можем по-разному, но факт всегда будет оставаться фактом, сколько ни сильсяподменить его своей убогой волей».

Во время каждого разговора с кузиной писатель неизменно мыслями возвращался к виденной картине и, с горькой очевидностью, приходил к выводу о том, что он ничего не изменит – не станет моложе и красивее, как Хома; не станет дозволять Александре класть на него ноги, как Хома; не станет убого мыслить, чтобы умилять свою возлюбленную, как Хома. Неизбежностью этой он тяготился, возвращаясь домой в подавленном настроении, которому не переставала дивиться сватавшая еще вчера молодых Мария Яновна. Но поделать с этим ничего не могла. Случалось еще, что по утрам, отправляясь в имение Ивана Афанасьевича, Гоголь надеялся, что все еще может быть иначе, и сегодня он не увидит сестру в компании полуграмотного бурсака, но надежды рушились и рушились. Не отдавая себе в этом отчета, в глубине своей души писатель начал было уже ненавидеть Хому и все крестьянское, связанное с ним – но, как только удавалось ему поймать себя на такой мысли, гнал он ее от себя нещадно, чтобы только не становиться похожим на дядьку.

И снова приезжал в Сорочинцы потерянным, разбитым, и снова будто бы отступившая болезнь начала хандрой возвращаться к нему. Семен пытался подбодрить барина словами о негожей связи его с ненавидящей простой люд сестрой, но тем самым только подливал масла в огонь – разве влюбленного так просто отговорить от чувств его потому только, что объект воздыхания не есть добрый человек? Любовь застит глаза, и тому, кто впитал ее в себя, уж никого на свете лучше избранника не будет, будь он хоть черт с рогами или ведьма с хвостом на зади.

Так бы все и было, и увял бы Гоголь на своей родине окончательно, если бы не одно событие, приободрившее измаявшуюся душу поэта. Узнав, что он пребывает на Родине, ему отписал Тарас Шевченко, путешествовавший в ту пору по Малороссии. Приняв приглашение Николая Васильевича, он вскоре приехал в Сорочинцы и гостил в имении матери писателя несколько дней. Все эти несколько дней сопровождались увлекательными беседами и размышлениями о будущем России и Украины. При этом Николай Васильевич не мог не сознаться земляку в тех чувствах, что в нем как в украинце, пробуждали его стихи и картины.

– Глубоко и истинно замечательно все, что вы пишете, – говорил Гоголь.

– Петербургские критики, меж тем, так не считают, – улыбаясь в густые моржовые усы, отвечал тихим голосом Шевченко.

– Так ведь они и меня последнее время не очень хвалят. А когда? Когда я, вместо словоблудия и пустого трезвона, взялся в комментариях своих к моему «Ревизору» объяснять его истинный смысл, утраченный и читателями, и критиками за ширмой легковесного чтения, сиюминутного развлечения.

– Получается, что вы, который, в отличие от меня, принадлежит к высшему свету, тоже тяготитесь им? Понимаете теперь, что сусаль зачастую уводит читателя и критика от главного, а когда тот видит главное, оно становится ему неприятно?

– Я это давно понял. Как понял и то, что я – писатель, а долг писателя не одно доставленье приятного занятья уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поучение людям.[6]

– Читал, читал отзывы Белинского к вашему «Разъяснению «Ревизора», и был немало удивлен. Хотя, между тем, удивляться нечему. Русский человек как представитель любой огромной национальности, всегда страдает повышенным чувством исключительности собственного кружка. Оттого он отрицает вас с вашими моральными выступлениями, что вы в основе своей все же украинец. Как бы ни маскировалось истинное отношение русского к украинцу, какие бы длительные сроки ни выдерживала надеваемая ими маска, правде все равно выплыть – такова уж ее планида. И выплывает она, как правило, тогда, когда выходит из-под пера украинца нечто, что по морально-нравственной силе своей оставляет далеко позади творения столичных мастеров слова. И тут припоминают вам все – и прошлые недостатки, и авансовые похвалы, – и вовсе выясняется, что не такой уж вы великий и сильный писатель, как виделось это ранее. Причем, пишут те же, кто вчера хвалил. Только национальная идея и национальная же рознь – в основе такой критики.

– Однако, – задумчиво парировал Гоголь. – Мне никогда бы не показалось в обычной жизни моей, что проживалась рядом с Белинским и Чаадаевым, что они видят проблемы моего писательства в моей национальной принадлежности…

– А между тем, это так! Отмечая достоинства моих стихотворений, они в один голос говорят, что это – не малороссийское, но слишком украинское творчество. Их задевает самостийность и самостоятельность нашего народа, который вовсе не является производным от русских, но представляет собой смешение и польских куренных традиций и языка, и исконно украинских, и русских – в какой-то степени. Он особ, и потому не похож ни на один другой, хотя имеет сходство со многими. Это надо понимать, уважать, с этим надо считаться… Вот взять вас. Ваши замечательные миргородские повести – что может быть прелестнее в глубоком океане творчества столичных бумагомарак? А между тем, похвалы они заслужили намного меньше, чем те же велеречиво-пространные «Мертвые души»! Почему так? А спросите простого читателя, а тем паче, живущего здесь, на нашей с вами родине – мил ли ему этот ваш сборник? Да вас на руках станут носить за него, уверяю! А в Петербурге отругают! Впрочем, вы и сами это понимаете. А сюда, говорят, приехали, чтобы собрать материал для второго такого же сборника?

– В какой-то мере, – опустил глаза Гоголь. – Вообще, я приехал сюда лечиться от малярии, что поразила меня в Иерусалиме…

– Вы были в Иерусалиме?

– Да, несколько дней. И нашел там копье Лонгина…

– Как?! – искренне удивился Шевченко.

– Не слушайте его, Тарас Григорьевич, – в разговор вмешалась сидевшая за столом Мария Яновна, достаточно критично относившаяся к очередному религиозно-ментальному колебанию в сознании сына. – Николенька отыскал там какую-то железку, и теперь вообразил себя пророком в своем Отечестве, коего, как известно, быть не может…

– Кто это сказал? Тот же русак Пушкин! Уверяю вас, Мария Яновна, что ваш сын и есть пророк. Настоящий пророк судьбы Украины, которая болью отзывается в сердце каждого из ее сыновей. А вас, Николай Васильевич, заклинаю как можно скорее приступить ко второму сборнику украинских повестей- они у вас прекрасно получаются. И сразу излечитесь, это уж точно! Ведь что может быть лучшим лекарством для художника, как не работа?!

---

[6] Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями. – По изд.: Гоголь Н. В. Сочинения. Издание десятое. Т. I – VII. Текст сверен с собственноручными рукописями автора и первоначальными изданиями его сочинений Николаем Тихонравовым. М., издание книжн. маг. В. Думнова – издание А. Ф. Маркса, 1889—1896.

– Но ведь здесь я лишь собираю материал. Работать полноценно здесь не получится, все время что-то будет отвлекать.

– А в Петербурге? Там светская жизнь не станет препятствием к творчеству?

– Отнюдь. Сами же говорите, критики практически отринули, отторгли меня.

– Тогда уезжайте! Если создание шедевров требует этого, уезжайте в столицу! Любую цену за новые произведения великого Гоголя!

Шевченко, как истинный поэт, говорил громко, звонко, чеканя слова и наполняя их такой прекрасной поэтической составляющей, что казалось, будто слушаешь песню, а не речь простого крестьянина, коим он был до окончания академии художеств, где учителем его был сам Брюллов! Он, даже будучи сам в незавидных жизненных обстоятельствах, всеми и отовсюду гонимый, умел будто бы морально вооружить собеседника, сподвигнуть его на великое, на борьбу нравственную и физическую, если надо – и с самим собой. Оттого и боялась его жесткая, но пугливая палка Николая Палкина[7], что в его национальном сознании была удивительная способность пробудить народ к огню, к восстанию, что всегда было страшным сном безумного русского царя.

– А кстати, – внезапно перевел он тему разговора. – Почему вы, украинец, представитель редчайшего и древнейшего дворянского рода, скрываете вторую фамилию? Отчего не подписываетесь ею в назидание нашим доморощенным петербургским русофилам?

Сейчас, за столом, Гоголь отмолчался, но после, когда они с Шевченко отправились на прогулку, под сенью лип, сознался ему в том, что н всех представителей рода Яновских считает достойными, приведя в пример дядьку и его отношение к крестьянам.

– Видите ли, я сам из крестьян, и потому мне изложенные вами факты импонировать не могут. Но родню не выбирают – это раз. И второе- вы, кажется, уже поняли, как важна национальная идентичность в сегодняшней России. Своих за преступления перед своими мы после побьем, а пока все мы, украинцы, если хотим отстоять национальное единство и народную мысль, должны сплотиться. И всегда мы делали это – еще задолго до Богдана Хмельницкого – под знаменами дворян, к числу которых относятся и Яновские. Умоляю вас, верните в подпись вторую фамилию. Сейчас это особенно важно!

– Что ж, обещаю вам подумать над этим.

Поэт улыбнулся.

– Знаете, не хочется злоупотреблять вашим гостеприимством, да и дела срочные. Я не планировал посетить вас, но, коль скоро у нас не было времени свидеться в Петербурге, решил, что лучше малой родины для этого места не сыскать. Так что, с вашего позволения, я завтра утром буду собираться в дорогу. – Гоголь хотел было что-то возразить; ему очень не хотелось расставаться с этим талантливейшим и прекрасным во всех личностных отношениях человеком; более того, он чувствовал, что излечившее его сплин общество поэта нужно ему как воздух, и в его отсутствие он тут зачахнет. Но Шевченко, обычно уступчивый, видя его порыв, оставался неумолим. – Видите ли, мне необходимо еще повидать родных в Киеве. – Поэт был неумолим, видимо, его и впрямь тянуло срочное дело. Николай Васильевич знал, что в Киевской губернии в имении одного из помещиков живут его родные братья и сестры. Они были там крепостными. Входя в его положение, писатель смирился с отъездом гостя.

Чуть позже, после ужина, Шевченко объяснил истинную причину отъезда:

– Со всяким иным я бы слукавил. Предпочитаю не распространяться о своей личной жизни и считаю, что поэта познают по книгам, а писателя – по картинам. Но с вами не быть откровенным просто невозможно. Видите ли, не так давно я познакомился с дочерью киевского генерал-губернатора князя Репнина, Варварой. Между нами завязалось короткое знакомство,

[7] Шутливое прозвище русского царя Николая Первого, знаменитого своими репрессиями, в том числе в отношении творческой интеллигенции.

коих я имел великое множество и в Петербурге, но ни одно не заходило так далеко. Ни с одной из барышень не было у меня такого единодушия в чувствах и мыслях, и потому… Думаю, вы как выдающийся сын Украины, тонко чувствующий поэт и писатель поймете меня…[8]

– Но я не поэт, – улыбнулся Гоголь.

– Скажите об этом тому, кто не читал вашего «Кюхельгартена», господин Алов, – ловко отшутился Шевченко. – Так вот, будучи уверенным, что вы поймете меня, рассказываю я вам это. Рассказываю также и то, что, принадлежа к дворянскому сословию, Варвара – человек все же чувствующий и проявляющий глубокое понимание к моим работам и сострадание к моим героям и их прототипам в реальной жизни. Я все же надеюсь, что мое общество и моя… – он замялся, – мое тепло превратят ее в достойнейшую женщину не своего, но будущего прекрасного времени всеобщего равенства.

– Не продолжайте, умоляю вас, – Гоголь подумал о том, что мечты поэта останутся лишь мечтами, и что он сам только что напоролся на обратную истину, но в последнюю минуту решил промолчать. Потому только, что как человек тонко чувствующий, что верно было замечено Шевченко, он осознавал действительное значение слова любовь, веру в которую внутри такого человека он просто не имел права разрушить злым своим словом. – Верю, что вы будете счастливы, и потому с легкой душой отпускаю вас. Обещайте только, что отпишете мне по возвращении в столицу и станете первым рецензентом того сборника, который сами напророчили. Посвящу его вам.

Шевченко посмотрел ему прямо в глаза и расплакался, так трогательно звучали его слова. Они горячо обнялись и отправились спать, а утром Шевченко стал собираться. Гоголь решил напоследок ему услужить – и дал в сопровождение слугу Семена, чьи родственники жили в том же имении, что и родня Тараса Григорьевича. Сославшись на то, что дождется его у матери, Николай Васильевич отправил Семена вместе с Шевченко, а сам к тому же вечеру собрался и отбыл в Киев поездом. Несмотря на все увещевания матери и незнание Александры об отъезде, он принял решение взяться за перо по совету великого «Кобзаря», а для этого ему требовались уединение и покой. Он никак не мог найти их в Петербурге, и потому сразу по прибытии сел на пароход и отплыл в обожаемую им Италию, которая уж не раз спасала его от физической и нравственной смерти и щедро одаряла вдохновением. Пусть же и сейчас станет она началом чего-то великого и замечательного в жизни Николая Васильевича!

[8] Письма Т. Г. Шевченко къ княжнѣ В. Н. Репниной («Кіевская Старина». Кіевъ, 1893)

Глава четвертая. Роман в письмах

Италия. Хоть и дальняя земля, и совсем не похожа ни на малую, ни на большую родину Николая Васильевича, а, между тем, имела она такое значение для души и сердца, для писательского таланта Гоголя, что, если бы кто-то сказал ему, что придется раз и навсегда расстаться с ней, вычеркнуть из души и сердца, то и писать он, наверное, навсегда бы бросил. Ему сложно было сказать, что именно привлекает его в этой удивительной стране, что дает ему столько вдохновения, сколько не давал холодный и промозглый Петербург. Напевная, чудная, волшебная атмосфера этой земли, ее дивная природа и теплый во всех отношениях, радушный климат – все это располагало к творчеству, потому как творчество всегда связано с душевным подъемом, а не испытывать его здесь было просто невозможно. В этом легком, слегка ветреном воздухе, наполненном ароматами свежих апельсинов и оливковых деревьев, где так легко дышалось и полные легкие вытесняли все плохое не только из головы, но и из жизни, все, казалось, передвигались не по земле – эти грешные в высшей степени люди как святые будто бы плыли над здешними мощеными улочками и сельскими просеками. Здесь хотелось и моглось летать, получать сибаритское наслаждение от жизни, осознавать грешность этого и все равно быть не в силах отказаться от всех тех благ, что, словно из рога изобилия, посыпались на голову вчерашнего петербургского обывателя, забитого и забытого. Словно рай на земле, исполненный грешниками – вот что такое была Италия в представлении Гоголя. Сызмальства русскому человеку внушается обстановка и осознание лишений, которые всю жизнь будут выпадать на его долю и которые он, согласно Христову учению, должно принимать с кротостью и смирением, и только здесь это правило перестает действовать. Сердцем Гоголь, как всякий русский человек, понимает, что неправильно получать столько удовольствия и наслаждения от жизни, которое заключается даже не в каких-то излишествах, к которым стремится любой человек. Но умом отказывается смиряться с этой истиной на благословенной земле далекого итальянского полуострова. Сердцем он понимает, что все это вот-вот должно кончиться, а умом не желает этого и потому, ловя каждое мгновение невероятной душевной гармонии, что посылает ему Италия, спешит работать и создавать дивные по красоте своей произведения.

Гоголь в группе русских художников в Риме в 1845 году

Люди. Еще одно богатство полуострова, которые взбалмошностью и экспрессией своей так сильно напоминают русских, все же разительно отличаются от них. Если подвыпивший русский вечером начинает горланить песни, то это раздражает всех, кроме него самого. А если вусмерть пьяный итальянец берет в руки мандолину и не дает спать целому городу, то к его волшебной и веселой песне, в которой грусть граничат с радостью и отворяют сердца слушате-

лей, хочется присоединиться к его веселью и не спать с ним вместе, даже если предстоит подъем с петухами. Все почему? Потому что нет в итальянцах и в Италии той печальной и страшной обреченности, которая всегда есть в русском и в России, хотя мытарств и гонений итальянец испытал никак не меньше, чем русский. Не удалось этим гонениям сломить волю свободолюбивого итальянца, а воля русского хрустнула как сухая ветка – потому только, что уверовал он в волю доброго царя. А итальянец с его легкостью и духом свободы и всеобщего равенства, выдержав многовековой гнет Франции, подобный ордынскому игу, все же сохранил в себе стремление и любовь к главному и самому дорогому, что есть у человека – к свободе. Все это, вкупе с природой, с землей, которая родит таких удивительных людей, и обдавало как свежим горным воздухом, так и горячим ветром опаленных солнцем полей, писателя таким вдохновением, коего не черпал он никогда и ни в ком.

Меж тем, на малой родине его творилось светопреставление.

Узнав о внезапном отъезде Николая Васильевича, Александра опрометью бросилась к Марии Яновне. Она была так шокирована этим известием, что потеряла аппетит. Только накануне, как ей казалось, говорили они о сборе материалов для его нового сборника малороссийских повестей, и она, как любая девица, уже нафантазировала себе свое собственное участие в кропотливой работе писателя. Да и взгляды, которыми одаривал ее кузен, и слова, которые посылал он ей, исполненные искреннего участия и любви, никак не могли вылететь из ее головы. Она терялась в догадках о причинах его отъезда и даже имела неосторожность задать отцу вопрос об объекте своих мыслей.

– Да, пустое, – отмахнулся Иван Афанасьевич. – Что он, что отец его, упокой Господь его душу, всегда странные были. Пойди, разберись, что у них там в головах происходит. Не очень-то переживай относительно него, все равно путного ничего с ним у тебя быть не могло.

Эти слова жестокого и своенравного человека лишь сильнее настроили Александру в пользу Николая Васильевича. Она стала искать причины в себе, в своем безнравственном отношении к крестьянам и к Хоме Бруту в том числе. Вот только о чем никак она не могла подумать, так это о том, что свойственная мелким и ограниченным людям ревность так же будет свойственна и высокому и тонко чувствующему писателю. А потому, как правило, не обнаружив самого лежащего на виду как тщательно спрятанного, отправилась она на второй день мытарств за советом к тетушке.

Мемориал на доме Гоголя в Италии

– Ах, голубка моя, – снисходительно улыбаясь, смотрела на нее Мария Яновна. – Сложный он человек, более, чем сложный.

– Но ведь говорил он о причинах своего отъезда?

– Ни слова не сказал. Несколько дней провел он здесь вместе с Тарасом Шевченко, после чего даже слугу с ним отправил, по чему никак нельзя было догадаться о его отъезде. И вдруг, внезапно, ничего никому не объяснив, упорхнул. Не печалься, голубка, отыщется твой голубь.

– Ну что вы, – смутившись, покраснела Александра и опустила глаза. – Я вовсе не…

– Да уж вижу, как не. Ты скажи мне лучше, что там такое случилось между вами, что стал он приезжать от тебя чернее тучи? То летал как истый голубь, а то стал возвращаться словно ворон подбитый…

– Да вроде… – и только после слов мудрой, прожившей разную жизнь и видавшей виды Марии Яновны поняла Александра свою ошибку. Но разве могла она предположить, что ее невинные игры с глупым, пустым, ограниченным Хомой, которого она вовсе не считала человеком, а считала своей вещью, так рассердят Николая Васильевича?! Ведь не было в них ничего, что могло бы быть истолковано как симпатия двух людей, как посягательство на что-то, что принадлежало или могло принадлежать Николаю Васильевичу как человеку!

И оттого вернулась Александра Ивановна в имение отца злой, какой никогда не была. Словно выпустив из головы все, что говорил Николай о равенстве между людьми и уважении к низшим сословиям, она опять уверилась в правдивости и правильности слов и действий отца по отношению к крепостным. Словно почуяв гнев молодой барыни, Хома как будто в воздухе растворился и старался не показываться ей на глаза весь вечер – и был прав, ибо она для себя уже давно решила, что, если только встретит его, то велит отвесить столько горячих, сколько выдержит его молодое и сильное тело. В гневе легла она спать, и следующие несколько дней

провела в таком состоянии. Злость уже начала затихать, когда от Марии Яновны прилетело известие – сын объявился, прислав ей письмо из Италии, из той самой съемной квартиры, в которой он часто останавливался в Риме, на виа Систина, и в которой даже писал в свое время «Ревизора». Тогда же Мария Яновна дала ей ценный совет, не воспользоваться которым Александра не могла:

– Он же писатель. Как они у себя в столицах говорят, бумагу марает. Для него наши разговоры задушевные – что пустой звук. Так и ты примись его же манерами с ним общаться, и напиши ему.

– Неужели прямо в Рим и написать?

– А почему нет? Пока он там, в настроении пребывает в прекрасном, настроился писать что-то новенькое, ты как раз ко двору придешься. Оно ведь знаешь, как говорят – настоящая любовь в разлуке только закаляется, а, коли не выдержит такого испытания, значит, и не любовь вовсе это была.

Решившись и приготовившись услышать самый неприятный ответ, Александра Ивановна принялась за письмо. Несколько раз рвала она черновик, сердясь на себя саму, на неуклюже и некстати подбираемые слова, которые гений Гоголя мог счесть недостойными своего общества. Но потом все-таки остановилась на определенной редакции, которую, справедливости ради, отправляла в Рим с тяжелым сердцем.

«Горячо уважаемый и дорогой моему сердцу Николай Васильевич! Теряясь в догадках относительно причин вашего отъезда, я несколько дней обвиняла себя в недальновидном и глупом поведении, что повлекло прекращение нашего с вами общения. И все же, воля ваша, не нахожу я другого разумного объяснения, кроме как моя невинная глупость, ходящая на двух ногах по земле и носящая имя Хома Брут. Хоть не было в наших наивных детских играх ничего, что бы хоть как-то умалило роль вашу в моей жизни, а все же не следовало мне предаваться им перед вами, поскольку я действительно люблю и ценю вас, а, если любишь и ценишь человека, то стараешься оградить его от созерцания подобных мерзостей. Объяснить мое поведение можно редким мужским обществом, тем более столь высокого ранга, к коему принадлежите вы. Но стоит ли искать каких-то оправданий?..

Больше всего на свете не хочется мне терять связи с вами, настолько важны вы стали для меня за эти несколько дней, что буквально вся жизнь моя стала с ног на голову. Разорвись сейчас эта связь, да еще по такому пустяковому поводу – и снова темнота и серость окружат меня, и уж больше не промелькнет в моей жизни даже лучик, не то, что огонь, коим вы стали для меня, осветив мою по судьбе дорогу. Умоляю вас не держать же меня в неведении и как можно скорее сообщить, простили ли вы меня, и не держите ли на меня зла? Прошу только принять во внимание все, что написала я вам выше, и все те чувства, которые руководили моим сумбурным пером при написании этой эпистолы. Благодарю за внимание и прошу прощения за скомканный стиль – видит Бог, он изменится, если только смените вы гнев в моем отношении на милость…»

«Дорогая Саша! Во-первых, не понимаю, почему вдруг ты перешла в общении со мною на вы? Кажется, не происходило между нами ничего такого, что так охладило бы отношения любящих родственников. Даже Христос называл всех на ты, и не терпел иного к себе обращения. Так что прошу тебя съехать снова на ты, и больше не восстанавливать официального стиля ни в письмах, ни в разговорах. Во-вторых, уверяю тебя, что отъезд мой никоим образом не связан был с твоим отношением к крестьянам. Я никогда в жизни не имел мыслей о том, что мое общество для тебя менее ценно, чем общество заезжего бурсака, и, если что меня и задело – так это панибратство с крепостными. Ну да, как прав Тарас Шевченко, это у нас у всех в крови, и изменение отношений произойдет только с полной отменой крепостного

права; христианское милосердие и понимание обязывает меня как человека верующего проявлять лояльность и к тебе, и к твоему отцу, и к собственной матери. Так что, ввиду отдаленности темы для обсуждений, предлагаю пока сей вопрос опустить – до лучших времен.

Однако ж, мне как любому человеку свойственна некоторая доля собственничества, которая удовлетворена твоим горячим объяснением – не смогли мы отыскать для него времени, пока были рядом, и только мой отъезд изменил ситуацию, еще раз подтвердив, что все, что ни делается, все к лучшему. Если быть серьезным, то внушила ты мне подтверждение великого Христова учения о милосердии, исповедовать которое я теперь обязан всеми своими трудами, делами и мыслями – внушив, среди прочего, идею нового сборника малороссийских повестей, которые, по моему глубокому убеждению, должны быть «ведьминскими». И потому у меня к тебе будет просьба. Ты, наверняка, знаешь, что в тех краях, откуда мы с тобой родом, широко распространено обвинение людей в ведьмачестве и прочих связях со всякой нечистью. Не могла бы ты, чтобы внести посильную лепту в создание моих скромных работ, провести какую-нибудь работу по поиску доказательств связей сорочинских жителей с чертями, бесенятами и прочими сотрудниками[9]? Клянусь, что этим ты внесешь неоценимый вклад в работу мою, и во всю русскую литературу.

Напоследок попрошу тебя выбросить из головы всякие ревнивые глупости, ибо нам с тобой, как представителя высшего света и дворянам, не к лицу страдать недостатками того общества, которое ты так стараешься от себя отвести. Все прекрасно, здоровье мое позволяет мне трудиться, а чудесный климат и атмосфера Италии настраивают на творчество как никогда ранее. Передавай поклоны маменьке и отцу. Всегда твой, Н.Г.»

Лукавил ли Николай Васильевич, когда говорил о том, что не питает никаких личных обид и оскорблений к Александре и Хоме? Не эти ли обстоятельства в действительности стали причинами его отъезда из Сорочинцев? Конечно, тогда они сыграли определяющую роль в его убытии. Но правы те, кто говорят, что человеческая мысль вкупе с человеческой душой подобны реке, которая изменяется каждую секунду, и невозможно дважды войти в нее, одну и ту же. Обстановка Италии, которая так умилила Гоголя и повлияла на благостное его расположение духа, и впрямь изменила его отношение к Хоме и даже внушила какую-то стыдливость – за то, что он, писатель, человек верующий, стал подвержен такому дьявольскому пороку. Мысль его стала выглядеть и звучать иначе, и первым он не написал Александре потому только, что сам стыдился своего низменного побега. Между тем, отрицать его пользу для творчества писателя было бы глупо. И оттого он был счастлив, что сестра, которая уже в мыслях виделась ему не совсем сестрой (или совсем не сестрой), написала первой, и побудило его это на более глубокую и ответственную работу.

«Дорогой Николенька! Безмерно счастлива я оттого, что ты не держишь на меня зла, и что по-прежнему добр ко мне и открыт. Поручение твое я выполнила с охотой. Ты и впрямь говорил правду, что ведьмины обряды сильно распространены в наших местах. Поговорила об этом с батькой, он, правда, мало чего знает, но все же рассказал мне предание о некоем чудище без имени, которое слепо, и восседает, по преданию на лошади, и является ведьмам во время их шабашей и обрядов, в качестве получателя жертвоприношения. Говорят, тут они иногда еще бывают. Так вот этот самый всадник, коему нет имени, является и забирает из рук ведьм невинные души, заблудившиеся в жизни и ставшие их лакомством, а за это дарует ведьмам красоту и молодость и жизнь долгую. Рассказал батька, что в детстве еще был свидетелем такого шабаша, который затеяли ведьмы на самой высокой горе близ Сорочинцев проводить – звать ту гору, вроде как Диканька. Оттого такое название ей пошло, что

[9] Таким словом в древности на Руси называли всевозможных помощников дьявола и обитателей ада.

на ней рос в ту пору (и растет теперь) дикий терн, и так его много, что временами кущи становились просто непролазными. Заблудшие христианские души приманивала сладкая ягода – идет себе путник, идет по взгорью, собирает ягоды и ест их, и такие они сладкие, что скоро сам не заметит, как уснет. А ведьмы-то и прибирают его, несчастного, к себе, а после приносят в жертву тому самому всаднику, чье имя неизвестно и знают его только колдуньи и оберегают от постороннего вмешательства как зеницу ока. Местные жители часто убивали и изгоняли ведьм, а только совсем их выжить из сорочинских мест не удалось – стали они просто искуснее прятаться, таиться от таких, как мой и твой отцы. Но все равно время от времени виднеются на самой диканькиной макушке костры в полнолуние летом – значит, собрались ведьмы там, куда простому человеку дойти если не невозможно, то уж очень как мудрено, и снова делают свое черное дело…

Впредь я буду еще разговаривать с местными бабами, в том числе со старыми крепостными отца, которые, наверняка, знают куда больше, и уверена, что мне удастся по-настоящему помочь тебе, милый брат, с подбором материала. Как настоящая женщина взамен я попрошу тебя указать мое имя где-нибудь в тексте – тебе пустяк, а мне будет приятно.

Так вот же, что я еще подумала об этом всаднике. Библии я в детстве толком не изучала, так как не имели к ней страсти ни мой отец, ни покойная матушка. Ты за несколько дней своего пребывания в Сорочинцах рассказал мне куда больше того, что я знала за всю свою недолгую жизнь. И вспомнился мне рассказ о всадниках Апокалипсиса из «Откровения» Иоанна Богослова. Одному из них было имя Смерть, и говорил он свидетелю: «Иди и смотри». Так вот я думаю – не перекликается ли этот библейский сюжет с рассказом моего отца, не слишком сведущего в Священном Писании? Не оттого ли говорит так всадник, что сам не видит?..

А вообще я часто вспоминаю наши с тобой встречи и беседы. Очень хочется как можно скорее повторить их. Твоя маменька сказала, что ты взял с собой не слишком много денег и тебе может не хватить их для жизни в Италии сравнительно долго. Так вот я прошу тебя – если это действительно случится, то ты по окончании своего лечения в Европе возвращайся снова к нам. Ты ведь сам говорил о том, как дурно влияет на мыслящих людей и тебя в особенности петербургский свет. Так почему бы тогда не приехать назад и уж прямо здесь не закончить работу над новыми малороссийскими повестями? О всаднике ты непременно должен написать, и, быть может, только здесь, на вершине Диканьки, сможешь ты и встретить его… А уж если бы и мне разрешил ты присутствовать при этой встрече, то, видит Бог счастью моему не было бы предела. За сим, понимая, что ты еще не здоров и очень занят работой, не смею более отвлекать тебя. Горячо и нежно любящая всем своим крохотным сердцем, Александра».

Глава пятая. «Мученики ада»

Мария Яновна была права – финансовые возможности Николая Васильевича после провала его «Разъяснения к «Ревизору», ряда других не вполне удачных творений, а также весьма дорогостоящих путешествий, оставляли желать лучшего. Надеясь все же поправить их своим пребыванием в Петербурге, а, возможно, изданием неких новых опусов, Николай Васильевич не внял советам Александры и из Рима возвратился в столицу.

Возвратившийся в Петербург после тепла родной Малороссии и ослепительной вечной римской весны Гоголь был раздавлен теми печальными и мрачными видами, что предстали перед ним в столице. Нелепые, неуклюжие львы на каждом углу, огромный и внушающий ужас шпиль Адмиралтейства, вцепившийся в поводья бешеного коня Петр Великий с лицом, искаженным ненавистью ко всему, что его окружало – такие пейзажи никак не подвигали на творчество. А потому в первое же свое утро Николай Васильевич решил как следует напиться – во-первых, алкоголь здорово помогал от обострившейся в граде Петровом малярии, а во-вторых, созерцать виды этого града может только в стельку пьяный. Компания нашлась быстро – старый друг поэт Языков, прознав о возвращении Николая Васильевича, нарисовался на пороге его дома, где уже два дня проживал слуга Семен, возвратившийся из гостей в Киевской губернии.

– Хорошо, что ты пришел, – зябко кутаясь в длинный плед, помятый и неопрятный Гоголь встречал друга в приемной.

– Ба! Кого я вижу! – как всегда экспрессивный, Языков раскинул руки и приготовился обнять писателя. – Путешественник во времени и пространстве! Неужто домой потянуло? Сколько ты уж здесь?

– Первые сутки.

– Многовато. Пора бы уж и в путь собираться, – в голосе приятеля слышалось явное неудовольствие, вызванное частыми перемещениями писателя по миру.

– Ты-то чем недоволен?

– Тем, что забыл наш круг, чураешься. Ты что, обиделся из-за Белинского? Брось ты этого старого маразматика, он давно уже ругает всех и вся, кроме Пушкина. Как по нем, так чем хуже, тем лучше. Выжил из ума. Вон и на Шевченко с его украинской народностью бросается, а скоро того и гляди запишется к Николаю Палкину в дежурные критиканы.

– Вовсе не Белинский и не его посредственные статьи заставили меня уехать, а мое нездоровье…

– Ну надо же! – собеседник Гоголя все не уставал размахивать руками. – Возвратиться из Иерусалима, от Гроба Господня, больным! Там, где все и всех лечат, ты умудрился подхватить болезнь. Как прикажешь сие понимать?

– Не иначе, как мою дьявольщину, – натянуто улыбнувшись, писатель протянул гостью стакан мадеры. – Тому и подтверждение есть.

– Любопытно, какое?

– А вон, – он кивнул в сторону конторки, на которой лежал завернутый все в тот же потасканный платок наконечник копья Лонгина. Языков с интересом подошел к предмету и стал его осматривать.

– Что это? Не иначе копье Лонгина?

– Оно самое.

– А как же прежде, до вас найденное копье?

– Утверждают, что фальшивка. Но меня сейчас не это занимает. Пусть даже и будет это всего лишь кусок застарелого железа, а все же бытует легенда, что носители копья Лонгина всегда были самыми жестокими диктаторами, воеводами, убийцами одним словом. Как такое возможно? Ведь Лонгин, по сути, облегчил мучения распятого Христа. Так почему тогда его

копье олицетворяет собой зло и дает власть над людьми, но не основанную на Христовом вероучении, на благе, всепрощении и добре, а основанную на жестокости и коварстве?

– Любопытно, – протянул поэт. – А знаешь, тебе с этой находкой следует обратиться в одно общество, общество историков.

Гоголь махнул рукой:

– Обвинят в шарлатанстве. Да я и не претендую на историзм. Ну посуди сам – сколько лет прошло с Христовой смерти? И все эти годы эдакая реликвия валяется, не нужная никому, и ждет появления российского писателя, чтобы сама как лягушка прыгнуть ему в руки? Бред какой-то. Меня скорее философская сторона вопроса занимает, о которой я тебе уже говорил. Если верить историкам и летописцам, то не исключается мысль о том, что Лонгин не есть спаситель Христа, а есть самый настоящий его убийца, в классическом смысле. И тогда смерть Христа может быть рассмотрена под совершенно иным углом, нежели, чем рассматривается теперь.

– Но ведь в смерти Христа вся суть христианства…

– Именно! А представь, если бы ее не было.

– Тогда и грехи наши и отцов наших были бы непрощенными…

– Но Спаситель был бы жив!

– А что толку?

– Ну а что толку в этом твоем пресловутом прощении? – не унимался писатель. – Ты живешь так, будто тебе все и навсегда простили? Ощущаешь ты легкость бытия? Нет, нисколько. Проблем и бед у тебя столько, что можно подумать будто ты, простой петербургский поэт, чуть более веселый и греховный, чем остальные, вовсе не обычный обыватель, а Ирод, Наполеон, Борджиа! Церковь только и увещевает тебя о том, что тебе все прощено и надо немного потерпеть, а сложностей в жизни у тебя изо дня в день не убавляется, а только прибывает.

– Но кому это надо? Кому надо так извращать истинное Христово учение?

– Тому же, кому и врать про Лонгина и его копье.

Слова писателя звучали более, чем убедительно. Приятель подошел к нему и обнял за плечи:

– Вот что я тебе скажу. Ты обязательно должен встретиться с теми людьми. Это очень важно, и от этого многое зависит. Я сейчас напишу тебе адрес, а ты уж будь любезен – найди время и посети их. Только обещай мне наперед, что сделаешь это. Поклянись нашей дружбой или чем хочешь, но сделай. Ты даже не представляешь, насколько это важно.

Гоголь клясться не стал – слова Языкова звучали так интригующе, что ответить отказом на поступившее предложение было выше его сил.

Вечером завтрашнего дня он посетил сие собрание, именовавшее себя не иначе, как «Мученики ада». Название не несло в себе ничего хорошего – и невольно Гоголь начал понимать, что попал в некую секту, пребывание в кругу которой сулит ему новые неприятности.

Дом, арендованный обществом, ранее принадлежал купцу первой гильдии Савосину. После его смерти вдова, не имевшая детей, стала сдавать его жильцам, но вскоре по причине чрезмерно высокой платы они перестали его арендовать. Из того, что секта собиралась именно здесь, проистекало ее весомое финансовое положение, образованное – как всегда водится в таких случаях – из щедрых членских взносов ее адептов. Из чего было понятно: они – люди небедные.

Так и было. Нечего было удивляться писателю и когда он узрел среди присутствующих, лиц которых не разбирал – несмотря на то, что многие подходили к нему, просили автографы и учтиво кланялись, были знакомы с ним по светским балам и суаре, и только нездоровье мешало писателю вглядываться в их черты – своего друга Языкова.

– Как? И ты здесь? Впрочем, кто, кроме члена секты, мог бы еще пригласить меня сюда?

– Потише с оскорблениями, тебя могут не так понять.

– И кто же? Они?

– Не только. Они вряд ли тебя заинтересуют, а вот председатель… И потом сегодня здесь будет некое событие, которое вряд ли оставит тебя равнодушным и ради которого я и пригласил тебя сюда.

– Скорее, не пригласил, а притащил, ну да это все лирика. И где же я могу видеть председателя?

Минуту спустя он вошел в изолированный кабинет в венецианском стиле, посередине которого стоял роскошный резной стол XVII века, за коим и сидела невзрачная, на первый взгляд, фигура председателя, представленного Языковым этим словом и пожелавшего остаться инкогнито. Пару минут они с писателем посудачили о том толковании Лонгинова жеста, которое он имел давеча неосторожность донести до Языкова.

– На самом деле, вы сейчас как нельзя более близки к истине, – рассудительно оценил его домыслы председатель. – Видите ли, в основе любой религии – и библейская тому не исключение – лежат вовсе не чудеса, творимые святыми и какими-то магическими текстами, а та трактовка реальных событий, которая может быть привязана или, если угодно, подогнана под определенные обстоятельства. В том, что Лонгин убил Христа, нет ничего добродушного или священного. В то же время сомнения, которые испытывал Пилат, утверждая приговор Синедриона в отношении Иисуса, были объективным обстоятельством, существовавшим на тот момент. Отклонись чаша весов хоть немного в другую сторону – и прокуратор Иудеи помилует Христа, а тем самым вобьет клин не только в Синедрион, но и в ту власть, которую над людьми имел первосвященник Каифа. Так что определенным кругам, к которым в силу своего служебного положения Лонгин был близок, жизнь висящего на кресте Христа была, мягко говоря, сильно осложняющим фактором. Именно поэтому – а не из какого-то там христианского человеколюбия – совершил он свое преступление…

– Однако, вы категоричны. На чем вы основываете свое предположение?

– На логике. Рассудите сами – убийство есть преступление, согласно тем же заповедям, так? И они, между прочим, не содержат никаких оговорок насчет того, что убийство не считается таковым, если оно совершено во благо или во вред. «Не убий!» – и баста. Это во-первых. А во-вторых, иным способом тот же Лонгин, будь он таким ревностным христианином, мог доказать свою любовь к пророку? Да запросто! Сними Его с креста, облегчи мучения – вот тебе и благое дело безо всяких оговорок. Конечно, тогда придется пожертвовать должностью, но разве это цена, когда на кону стоит спасение жизни учителя?

– Рассуждаете вы логично, но… Почему, коль скоро Лонгин не был последователем, верным учеником Христа и, значит, не мог быть приобщен к тому священному сонму, что окружал Иисуса, копье его обладает столь магической силой?

– Все очень просто. На земле – и Эдем есть ярчайшее тому подтверждение – правит всем Сатана, который, как известно, и Иисусу, и Отцу Его есть первейший враг. Именно он, заинтересованный в смерти Христа, в отсутствии конкуренции здесь, а земле, вложил копье в руку легионера, на счету которого, думается, было уже немало трупов. В этом копье состоит дьявольская сила. Не знаю, как насчет ада загробного, а вот ад земной мы с вами имеем честь видеть своими глазами ежедневно. Не там, не в какой-то преисподней, в которой никто никогда не бывал, а здесь, среди людей, и есть самая настоящая геенна огненная! И потому правит и имеет невероятную силу здесь тот, в чьих руках в данный момент сосредоточена эта поистине великая сила! Потому мы и зовемся «Мучениками ада», что все как один в нем пребываем. Правда, в отличие от многих, признаем и осознаем это!

– И вы считаете, что смогли бы? Управились бы с таким могуществом в длани своей?

– Это уж не мне решать. Кого он, – председатель воздел палец к небу, – изберет, тому в руки и попадет сия реликвия. Бывали, правда, случаи, когда оказывалась она в руках неуме-

лых, бесталанных. Их исход вы помните – взять хотя бы Карла Великого или Оттона Третьего. И речь-то сейчас идет не обо мне, а о вас. А в вашем, простите, случае ошибка исключена.

– Почему?

– Помилуйте, – улыбнулся председатель и доверительно взглянул в глаза писателя. – Но ведь вы же из рода Яновских.

– А какое отношение, помилуй Бог, мои предки имеют к Лонгину и к дьяволу?

Председатель снова посмотрел в глаза, а через них, казалось, прямо в душу Николая Васильевича, но ничего не ответил. Только вскочил и указал ему на дверь, добавив, что очень скоро начнется главное представление.

Оставаться в компании этого взбалмошного типа и его сомнительных подручных Гоголю не хотелось, но Языков уговорил его остаться – в конце концов, утверждал он, от 10 минут ничего не изменится, но по прошествии их он сможет значительно изменить мнение относительно всего увиденного сегодня.

В назначенный час, спустя несколько минут после того, как Гоголь покинул кабинет председателя, все присутствующие – 13 человек – вошли в запертые двери приемной и встали в круг, центром которого служило нечто импровизированного алтаря в середине комнаты. Здесь не было из мебели больше ничего – разве что несколько стульев по углам. Освещена была комната тускло, если не сказать, что и вовсе никак не освещена. Оглядевшись, Гоголь увидел вдруг, что все собравшиеся облачены в какие-то черные балахоны с капюшонами, длиною до пят, напоминающими одеяния средневековых инквизиторов. Они пугали его. Писатель бросился к Языкову и стал спрашивать, что за одежды на всех присутствующих, и почему его не предупредили и снабдили такой же формой. Страх писателя был понятен – в таком-то странном обществе вполне возможно, что стать бы ему сейчас жертвой этих самых подражателей Торквемады, чего бы ему не очень хотелось, несмотря на нездоровье. Друг шепотом отговорил писателя и сообщил, что ему вовсе не обязательно облачаться подобным образом, и что скоро он все узнает.

Минуту спустя на аналое появился председатель общества в таком же черном балахоне. Собравшиеся приветствовали его аплодисментами, а он приветствовал всех словами, начертанными на вратах Ада:

– Оставь надежду, всяк, сюда входящий! – после чего гром еще более бурных аплодисментов потряс здешние тонкие стены. Взмахом руки председатель остановил поток и заговорил громовым, леденящим душу голосом, коим мог говорить истинно обитатель преисподней: – Друзья мои! Дорогие мученики! Сегодня, наконец, свершилось нечто, чего мы столько лет ждали, и отыскалось то, что так долго и безуспешно искали мы. Истина состоит в том, что обрящет не всякий ищущий, но тот, кто действительно осознает, ведает и верит в то, что ведает – кто привык смотреть на все иначе, чье мировоззрение отличается от общепринятого вообще и от христианского, в частности. И он обрел ту реликвию вечной жизни в окружении зла, в котором мы все живем… – Он говорил малопонятные вещи, и Гоголю уже становилось не по себе. Однако, в следующую минуту председатель жестом руки пригласил его выйти и стать рядом с собою. Писатель молча повиновался.

– Сегодня рядом с нами наш истинный повелитель и направитель света. И держит его тот, кто по-настоящему достоин! Пусть же светоч укажет нам дорогу! – последнюю фразу он буквально выкрикнул, и слова эти были словно сигналом для всех остальных. Они надели на головы капюшоны и стали читать на латыни какие-то тексты, разобрать которых было невозможно. Одно лишь общее для всех слово «veus» и удалось только понять Гоголю. Щурясь и преодолевая препятствие темноты, Гоголь всматривался в еле различимые уста говорящих – каждый будто бы бормотал что-то свое, но общий голос хора складывался в общую молитву, которая становилась громче и громче. Это действительно была молитва – она чудесным обра-

зом словно приковала писателя к аналою, с которого он не мог ни сойти, ни пошевелиться. Голова его начала жутко болеть, буквально раскалываться, как вдруг…

Двустворчатые двери позади него, о которых он даже не подозревал, отворились, и в проеме показался всадник на лошади. Эта жутковатая композиция подсвечивалась непонятно откуда идущим тусклым синим светом. И сам всадник, и конь его были каких-то невероятных размеров – непонятно было, как они вообще сюда влезли. Всадник был облачен в древнеримские латы, из-под которых виднелась кипельно-белая плащаница. Она не давала доспехам плотно примыкать к телу, из которого можно было увидеть лишь кости с кусками мяса вместо рук, которые с невиданной для покойника силой сжимали огромный турецкий ятаган. Из той же плащаницы был сооружен капюшон, венчавший его. Он поднял голову – черт его не было видно – и незримым взглядом уставился на обомлевшего от ужаса писателя. Ни лица, ни глаз не различал Гоголь в полутьме, но чувствовал, как этот тяжелый взгляд жильца подземного царства буквально пронзает его насквозь. Он как будто потерял сознание и улетел на невидимых крыльях далеко отсюда, в Полтавскую губернию. Явственно предстала перед ним Александра, которая почему-то билась в агонии, и глаза ее горели неестественным алым цветом.

Николай Васильевич, мучимый удушьем, стал разевать рот как рыба, ему казалось уже, что он умирает, сил у него становилось все меньше – будто бы всадник высасывал их из него. Наконец, ноги писателя подкосились, и он упал – но не потерял чувств. Никто не подошел к нему – казалось, всех увлекло появление всадника как особый ритуал, который еще не закончился, – и вскоре ему с трудом удалось самому поднять голову и обратить ее в сторону всадника – его в комнате уже не было.

Силы как будто сразу вернулись, он вскочил и ринулся к выходу. Добравшись до мощеной мостовой, Гоголь не увидал и не услыхал ничего, что бы в эту мертвую, безлунную полночь говорило о человеческом присутствии: ни шороха, ни цокота копыт, ни дуновения ветерка – казалось, что и впрямь все вокруг умерло. Опрометью бросился писатель домой – подальше от дыхания смерти, что он, казалось, только что ощутил. Несколько метров он слышал позади себя голос Языкова, призывавший его остаться, но не желал н выполнять его просьбы. Внутри Николая Васильевича кипела злость. Чем дальше удалялся он от этого дьявольского места, тем сильнее голос разума уверял его в том, что он стал жертвой розыгрыша, чьей-то жестокой шутки, которая так сильно ранила его изможденный болезнью разум. Так почему же он тогда бежал?

«Ведь я видел Александру, вне всякого сомнения. Никто из присутствующих не знает ни о ней, ни о наших отношениях, так почему же ее? Быть может, и не шутка…»

Следующие несколько дней Гоголь избегал встреч с Языковым и вообще какого бы то ни было социального общества. Писем от Александры не было, хотя, даже если она не знала о его отъезде, то письма ее, приходившие в Рим, пересылались бы по специальному распоряжению писателя, оставленному в почтовом отделении, сюда. Он начал было уже волноваться, когда несколько дней спустя получил он письмо от матери. Оно взволновало и одновременно шокировало его. В нем говорилось, что не далее, как в тот самый день, что Гоголь посетил литургию «Мучеников ада», его двоюродная сестра… скончалась от горячки в тяжких мучениях в далеких Сорочинцах Полтавской губернии.

Глава шестая. Хома

Тяжело переживал Иван Яновский внезапно свалившуюся на него как снег на голову кончину дочери в расцвете лет. Никогда, за всю долгую жизнь этого сурового, жесткого, не привыкшего к нежностям и доброте человека, не случалось ничего, что так бы выбило его из колеи. Ни смерть родителей, ни смерть родного брата так не подтачивали его физического и душевного равновесия. Больнее всего для него была даже не сама смерть – так повелось, что в диких местах, в которых он жил сызмальства, она вечно бродила где-то рядом, обдавая своим ледяным дыханием все и вся, – а невозможность узнать виновного в ее гибели. Убил бы он супостата, отправил бы на каторгу – кто знает, – а, быть может, и вовсе бы помиловал, но хотя бы взглянул в его глаза, как взглядывает самый строгий судья, что судит всех Высшим Судом. В минуту кончины дочери осознал Иван Яновский свою никчемность, мелкость, бессилие – вот, что точило и изнуряло его так, что уже третий день со дня ее смерти не мог он ни есть, ни спать. Ах, если бы только минуточкою доли узнать, кто стал причиной твоей смерти, голубка?.. Нет, никогда не поймет человек, зачем нужно ему то или иное знание – а только в отсутствие него ощущает он себя слабым и мелким, даже не рабом Божьим, а истинно – пылью под ногами.

Сказку о горячке Ивану пришлось придумать – действительной причиной смерти послужило далеко не это. В один из вечеров Александра, отправившаяся бродить по местным лесам, видимо, забралась на вершину диканькиной горы, после чего возвратилась домой только под утро и вся избитая. Не могла она вымолвить ни слова, сколько ни пытал ее убитый горем родитель о причинах ее увечий. И так ничего не сказала, до самой смерти своей, разве что в роковую минуту попросила только, чтобы ровно три дня подряд после ее ухода отходные по ней читал Хома Брут. Иван своими глазами видел, что он буквально не отходил от Александры с самого дня своего возвращения из бурсы на вакансии, и потому просьба эта не вызвала у него подозрений. Равно, как и ее молчание на вопросы о том, кто нанес ей столь тяжкие увечья – всем известно, что Диканька есть место сбора ведьм, и, если уж молчала она даже в предсмертную минуту, значит, обидчик ее столь суров, что мести его опасалась она и в загробном мире. Будь то простые сорочинские бабы, так велел бы Иван Афанасьевич так высечь всю бабью округу, что дух бы из них вон, да только молчала его голубка на смертном одре. Значит, не все так просто, и объявлять сейчас расследование – значит, лишний раз прогневить того, кто и так не пожаловал милостью своей семейство Яновских. И это бессилие подтачивало дух злого помещика, не давало выхода ярости его, которая, копясь в недрах его души и тела, надламливала его сильный дотоле организм, превращая в страшного, чахнущего буквально на глазах старика.

Между тем, и с отпеванием покойницы возникли проблемы. Узнав о том, что при смерти Александра Ивановна наказала ему читать отходные, Хома Брут опрометью бросился в бурсу и засел там с умным видом прилежного школяра, хотя до этого в особой страсти к наукам замечен не был. Не желая отступать от воли горячо любимой дочери своей, Иван снарядил за ним брику и отправил людей, чтоб привезли земляка назад. После они расскажут помещику, что ни под каким предлогом не желал Хома ехать – тем сильнее было желание Ивана Афанасьева доставить его поскорее в сорочинскую церковь. Но первым делом надлежало допытаться у него о причинах горячего нежелания возвратиться в родные места для богоугодного дела – кто знает, может в нем была какая тайна, связанная с ее смертью? Хоть и понимал старый Яновский, что тайна сия велика есть и может быть опасна для него самого, но в глубине души все равно жаждал прикоснуться к запретному источнику.

Однако, все было без толку. Бурсак лопотал чего-то о скоромной и неправедной жизни своей, и никак не желал исполнить последней воли умершей своей хозяйки. Но Яновский был непреклонен – воля его голубки была для него все одно, что божественная. Он пообещал бур-

саку озолотить после исполнения поручения, и повелел гайдукам своим охранять того и проследить, чтобы от чтения молитв тот не уклонялся. Это было не то просьба, не то приказ – отказаться было нельзя, хоть и обещание пана Яновского насчет денег было уж очень заманчивым. А все же не лежала у Брута душа читать молитвы по той, что когда-то он, наверное, даже любил…

Хоть и учился Хома в бурсе, а все же сызмальства особого уважения и трепета по отношению к церковным и религиозным ценностям не питал. Вошел он в церковь уже затемно, чуть зевая и намереваясь остаток ночи провести в объятиях Морфея, манкировав своей священной обязанностью осуществить отпевание покойницы. От свечей, расставленных по углам старой, утлой церквушки, лился тусклый, едва различимый свет, который никак не прибавлял бодрости или желания работать.

Запустение православной церкви в этих местах было понятно – много веков здешние жители, в основном, исповедовали униатство, а потому костел в Сорочинцах и в Полтаве были куда более посещаемыми местами. Хоть православный царь и велел изменить почитание религии, немногие прислушались к его назиданию и забыли традиции предков – чтобы объяснить это, надо понимать специфику жизни в этих, забытых Богом, местах. Всегда, а особенно сейчас, в трудную для всей России годину правления Николая Палкина, сильны были в малороссах настроения воинственные и радикальные, самостийные и даже несколько бунтарские. Не желая до конца расставаться со своей национальной идеей и ее ответвлениями, самым значительным из которых была, разумеется, греко-католическая церковь, все они в глубине души еще грезили свободой и независимостью – наверное, именно поэтому этническому украинцу Гоголю так близки были свободолюбивые и вольные итальянцы…

Хома Брут так далеко в своих рассуждениях не ходил. Только богатство, заложенное паном Яновским в его слабый ум, сейчас владело им полностью. Никто не стал за ним наблюдать – посещение церкви было не в чести, да и типичная украинская лень (во всяком случае, именно на это молодой бурсак списывал свое одиночество в эту ночь в столь заповедном месте) сыграли свою роль, – и потому, надлежащим ли образом сдержит он свое слово или нет, было только на его совести. А, если по совести, то Хома был зол на Яновского – он ведь не по своей воле пришел сегодня сюда, а был притащен словно бык на аркане в забой, и потому решил он не особо мудрствовать, а понюхать табаку и уснуть прямо на аналое. А те, которые утром придут за ним, даже если и увидят его спящим, то все одно ничего не скажут – устал, да и уснул. Не всю же ночь он спал! Покойница Александра, чьей памятью Брут решил спекулировать в глазах убитого горем отца, знала благонравие и святую жизнь Хомы, так не придет же ее отцу в голову усомниться в этих качествах будущего философа?! Знай она о нем нечто обратное, то уж точно не повелела бы читать по себе отходные.

Табак был и вправду хорош – даже голова закружилась от аромата и крепости его. И впрямь славный был табак у старого Яновского! В меру сальный, в меру хмельной, и веселый такой, будто и не было всех неприятностей последних дней – не умирала Александра, не приходилось Бруту бежать в бурсу и после быть насильно возвращенным, не приходится ему стоять и в этой грязной и старой церкви, неухоженной и запущенной, и оттого пугающей…

Лирическое настроение внушил табак Хоме Бруту. Скупая мужская слеза упала с его век – так жаль было рано почившую в бозе дочь Яновского. Они питали друг к другу определенную симпатию, не расставались надолго уже давно, заигрывали друг с другом, что необразованный и темный Хома рассматривал как проявление чего-то большего, чем простое дружеское расположение со стороны молодой помещицы.

И впрямь чудной красоты она была. Вот только знал Хома, почему и смерть ее столь преждевременна и ужасна, и почему оставили тут его одного, да еще снаружи заперли, а сами отбежали от старого погоста как черти от ладана. Давно поговаривали не только про нее, но и про всех Яновских, что водятся они с самим дьяволом. И сама покойница, хоть и не при-

стало об ушедших говорить или думать подобные вещи, явно зналась с кем-то из преисподней. А как иначе можно было объяснить то совершенно волшебное очарование и воздействие, что оказывала она на него? Не сумасшедший же он, чтобы просить ее сесть ему на шею и катать потом по всему хутору, на потеху панам и крестьянам! Словно околдовала она молодого бурсака, да и не его одного. Молодой паныч Николай Васильевич из Петербурга тоже пал жертвой ее чар. А у них, в роду Яновских кровосмешение стало какой-то сатанинской традицией-ну кому из нормальных людей потребуется вступать в невенчанный брак со своею же роднею и после зачинать детей таким образом? Одно слово, что только нечисть может страдать такой заразой. А уж он, Хома, помнит, как смотрели друг на друга Александра и Николай – даром, что из своей фамилии он выкинул дворянскую часть и подписывается только фамилией Гоголь. И черта можно назвать ангелом, только крылья не вырастут. Так и Николай Васильевич, хоть и думает, что отвел от себя родовое клеймо, все же ошибается. Спроси он об этом у философа Хомы Брута – уж тот как пить дать, разъяснит ему, что к чему.

Еще две понюшки панского табаку окончательно сбили с молитвенника сон и поселили в нем настроение, никак не подобающее ни месту, ни времени – захотелось какого-то безудержного веселья, в котором забудутся все треволнения и напасти, и снова можно будет полной грудью вдохнуть вольного воздуха Полтавщины. Он стал ходить по церкви взад-вперед словно хмельной, время от времени останавливаясь у икон и рассматривая их причудливое, как будто, нарочитое уродство в исполнении. Нет, не так нарисованы красивые, масляные, как игрушечные иконы, что висят у него в бурсе и в том костеле, что стоит в Полтаве и что мальчиком еще, с родителями вместе навещал Хома. Куда красивее!

«И почему все-таки молодая ведьмачка повелела отходные читать именно в православной церкви? – задумался было философ. – Не иначе, тут какое-то дьявольское место. Неспроста, ох, неспроста. Нет, истинно, что только наша греческая вера есть истина, а все остальное – ересь и туман…»

Подобные абсурдные мысли легко приживались в одурманенной хмелем панского табака голове Хомы. Напугавшись сам своих собственных измышлений, он огляделся и увидал вдруг, что горят тут только несколько свечей, хотя по всем углам и стенам погоста они были расставлены в достаточном количестве, чтобы осветить темное пространство. Он вдруг подумал, что, если света будет больше, то и дьявольские силы покинут хладный труп девицы, и уйдут в свой Аид. Он взял маленькую сальную свечку и принялся бегать по кругу, зажигая остальные. Вскоре светло стало, как днем, что немало порадовало Брута.

Он все нюхал и нюхал табак, и вскоре видеться ему начали совершенно чудные и страшные вещи. Показалось на мгновение, что покойница в гробе шевельнулась, повернулась, посмотрела на него своими мертвыми глазами. Нет, не испугался храбрый казак – ведь он ничего не должен бояться на этом свете. А только то его и удивило, что от взгляда ее дунуло окрест могильным холодом, и вмиг погасли все свечи, что он минуту назад зажигал. Одна только, что сжимал он в руке, почти совсем до огарка истлевшая, осталась сиять. И так его все виденное встревожило, что решил он табак оставить и читать. Читать молитвы, как и подобало богослову и бурсаку. Открыв лежащую на аналое старую книгу, стал он нервно, путая буквы и слова, произносить мудреные выражения, коими отгонял дьявола и призывал Господа во спасение душ своей и новопреставленной Александры. Не по нраву ведьме слова оказались – оттого перестала она ворочаться и успокоилась. А после, когда уж запели во все горло сорочинские петухи, Хома понял, что видел не более, чем видения от табака. А потому в следующее бдение решил он дурману с собой не брать – мало ли, что может привидеться, так и до греха недалеко, а он все же богоугодное дело делает!

Сказано – сделано. Не взял с собой Хома на другую ночь табаку. Да только слегка выпил в обед с устатку после бдения. И снова старое видение явилось ему, и снова как будто бы пошевелилась в гробу покойница. Ясное дело, бояться нечего, но почему вторую ночь является ему

одна и та же картина? Может, и впрямь ведьма задумала недоброе, решив подшутить напоследок над Хомой и назначив ему отпевать свою грешную душу, которую, как видно, ни Бог, ни черт не хотят забирать себе? Опасаясь этого, Хома начертил не весть, откуда взявшимся в церкви мелком круг вокруг себя, за который, по его разумению, нечисть нипочем не могла проникнуть.

Стал он читать и как будто эхо от слов его стало разноситься по всей старенькой церквушке. Вчера такого он не замечал, эха почему-то не было. Может, показалось? – подумал бурсак и замолчал. Замолчало и эхо. Он снова стал читать, нарочито нажимая голосом, чтобы показать незримому слушателю важность того, что им произносится, и, возможно, изгнать его из этих стен, чтобы исчезло это странное рокочущее эхо. Оно меж тем усиливалось. Он снова замолчал. С небольшим опозданием, как это бывает в горах, затихло эхо. А когда заговорил в третий раз, эхо стало таким громким, что будто даже заглушало чтеца. Он замолчал, не в силах вымолвить ни слова – а эхо не прекращалось. И стоило только Хоме вслушаться в это бормотание, как услышал он вместо своего голоса и своих слов наперебой льющиеся голоса разных тембров и оттенков, которые говорили на непонятном языке с латинским окрасом – так говорил в бурсе преподаватель по латыни, читая старые книги и заповеди. Хома в ужасе оглядел по сторонам – никого не было в полумертвой церкви. Он стал читать, но голоса, говорившие как будто шепотом, заглушали и перебивали его. Снова страх овладел всеми членами его и языком. Тогда он вновь схватил в руку мелок и очертил вокруг уже нарисованного еще один круг – только сейчас, присмотревшись, он увидел, что первоначально начертанные линии потихоньку стираются, словно кто-то нарочно делает это, хотя он сам даже старался лишний раз не наступать на линию. Наконец, вторая незримая стена была им нарисована – голоса стали отступать, стали еле слышными, и почти затихли. Это позволило ему остаток ночи провести в непрерывном чтении, которому никто не мешал – изначальный план его захмелеть да спать приказал долго жить при таких-то делах. «Замолчу, и тогда уж точно ничто не спасет ни душу покойницы, ни мою собственную», – здраво рассудил Хома, углубляясь в священные тексты, за коими и провел все время до первых петухов.

Выйдя утром за двери церкви, он понял, что определенно что-то дьявольское творится вокруг ведьминого гроба. Пошел к Яновскому и рассказал ему как на духу все, что видел и слышал.

– Полно тебе, казак, – отмахнулся Иван Афанасьев. – Не было этого и быть не могло, место-то святое, церковь все-таки…

– Так ведь сами рассудите, пане, что люди про покойницу говорили…

– Ну вот что, – рассвирепел после таких слов помещик. – Или ты как надлежит исполнишь свою обязанность, или я запорю тебя до смерти своей батьковской рукою, и никто мне ничего не скажет ни их живых, ни из мертвых! Так что думай…

Пытался он было после такого разговора даже убежать из хутора, да только зорок был глаз панских гайдуков и скора была их рука – не такое было здесь место, чтоб можно было бы несчастному философу удрать.

Выспаться после таких приключений Хоме к третьему дню не удалось, и пришел он в церковь, едва стоя на ногах от усталости. Губы уже не шевелились и не могли произносить молитвы, сам он едва держался за аналой, чтобы не свалиться – только знал, что, и если упадет, сна и покоя не будет ему. Знать, и впрямь околдовала его молодая ведьма.

…Сон все же сделал свое дело и свалил Брута. Когда он проснулся, была уже глубокая ночь. Свечи, предусмотрительно вновь зажженные им, сияли в кромешной тьме старой церквушки. И только осмотрелся он, как увидел, что гроб пустой! Стал искать по вроде бы освещенным анфиладам покойницу – и только приглядевшись, увидал, что стоит она возле самого его круга, только по ту его сторону и смотрит на Хому пристально. Красивое лицо ее было

мертвенно-бледным, синие губы молча открывались и закрывались и разобрать можно было одно только слово ее:

– Вий!

Сказанное почти шепотом, звучало оно как раскаты грома средь ясного неба и до смерти пугало бурсака. Он надеялся, что вот-вот проснется, только стоит запеть петуху, но тот предательски молчал. И стоило ей в третий раз произнести это малопонятное слово, как заскрипел уличный засов, отворились тяжелые дубовые двери, через которые входил он в церковь, и на пороге ее появился нечеловеческих размеров всадник на коне. В латах, испещренных непонятной латиницей, на гигантском вороном коне с огненным дыханием и полыхающими глазами, восседал всадник, покрыв голову капюшоном белой шелковой материи. Там, где обыкновенно у людей находятся руки, у него были лишь костяные мотолыги, сжимавшие дьявольский гнутый ятаган. В самую бы пору Хоме закричать и позвать на помощь, да только от страха у него пропал дар речи. Мертвая картина стояла перед глазами его – покойная дочь Яновского смотрела на него и указывала руками на тот круг, что очертил Хома, и застывший в дверях всадник сдерживал лошадь, что готова была вот-вот рвануть к аналою и растоптать несчастного философа.

Вглядываясь сквозь кромешную тьму в очертания всадника, увидал Брут, что вокруг него стоят какие-то маленькие, крохотные, едва заметные человечки – учитывая рост конника, они казались крохотными, хотя были примерно в половину обычного человеческого роста. Лица их были ужасными – то рога венчали их лбы, то многие глаза словно поганки росли на камнеобразных лицах их, то по три или четыре руки приходились на брата. Они беспрерывно что-то бормотали, и, только вслушавшись в царившую в церкви пугающую тишину, Брут понял, что именно они вчера и составили тот многоголосный хор, что поначалу принял он за эхо. А вспомнив, что невидимая стена, возведенная им, вчера едва не рухнула, он опустил глаза на пол – никто не входил без него и в его присутствии в церковь, да только и вчерашняя окружность почти полностью исчезла с пола. И мела как назло нигде не было!

Наконец всадник поднял голову и посмотрел на Хому. Посмотрел – верное ли слово? Ведь не было у него ни лица, ни глаз. Черная бездна, пустота зияла на том месте, где обычно у человека голова. Сверкнуло какое-то алое сияние, и смог разобрать Хома несколько букв на латах рыцаря, прямо возле его шеи.

– Вий! – завопил Хома, и заметался внутри маленького кружочка, который только и делал, что сжимался вокруг несчастного казака. – Вий! – кричал он, словно взывая о помощи в абсолютно глухую и безлюдную ночь.

Всадник, влекомый зовом своего имени, проехал несколько шагов вглубь церкви, и протянул к Бруту свою дьявольски длинную руку. Кажется, даже круг не смог его остановить. Рука была все ближе, а дыхание смерти чувствовалось Хомой все отчетливее…

– Вий!

…Нашли тело Хомы под утро. Он лежал в кругу возле гроба, а волосы его покрылись сединой, словно был он не молодой казак, а изможденный жизнью старик. И только местные жители наперебой вспоминали, что последним его издыханием было сказано одно непонятное слово:

– Вий!..

Глава седьмая. Третье отделение

Александр Семенович Данилевский был приятелем Гоголя с незапамятных нежных детских лет, проведенных ими в родной и потому близкой их сердцу Украине. Почти уж тридцать лет тому как они учились вместе в Нежинской гимназии высших наук, где сошлись и познакомились так близко, как сходятся только лучшие друзья, родственные друг другу души. После, окончив ее с разницей в один год, не прекращая ни на день переписки, приехали в столицу и поступили в университет, по окончании которого близкий приятель матери Гоголя, знаменитый Фаддей Булгарин, устроил их обоих на службу в Третье отделение. Николаю Васильевичу эдакая «чернильная служба», как говорил герой его пьесы «Игроки», вскоре пришлась не по вкусу – беда состояла в том, что проведение следствий по делам было занимательным и увлекательным лишь до поры. Вскоре малоопытного следователя перевели на дела небольшой тяжести и небольшого же интереса, которые расследовались однотипно и тем самым, как ему казалось, только притупляли его живой и острый ум. В ту пору у Гоголя было сильно увлечение театром, он видел себя если не знаменитым актером, то лектором и профессором истории, и оттого предпочел оставить службу, отдавшись исканиям себя в других направлениях. Александр же Семенович продолжил службу в той же организации, мало подвергаясь воздействию света в той его ипостаси, которая отвечала за богемность, значимость и позерство.

Будучи разделенными по интересам, приятели продолжали поддерживать отношения, но уже все более прохладно и эпизодически – редкие письма, еще более редкие встречи случайно в том или ином обществе, и главное – отсутствие общих интересов, которые у Гоголя, в отличие от его однокашника, целиком сосредотачивались на искусстве и служении высокому, а у приятеля его – на служении низменному и земному, – никак не могли возродить былой теплоты. И, хоть по-прежнему чувствовали они нечто родственное в душах своих, а все же общение практически сошло на нет, оставив друзьям только одни воспоминания о том, как вместе увлекались, будучи школярами и студентами, театральной жизнью, искусством и даже выписывали вскладчину столичные журналы в далекий Киев, в Нежинскую гимназию.

Николай Васильевич тяжело переживал смерть сестры. Это известие, вкупе с тем гнетущим и тягостным впечатлением, что оставили у него «Мученики ада» после первого их посещения, словно бы подорвало и без того слабое здоровье писателя, и вернуло его в постель. Весна в столице была хоть и поздняя, а традиционно промозглая, что никак не способствовало его выздоровлению. Он лежал пластом, когда в комнату его в одно утро вошел Семен и принес записку от человека, о котором менее всего мог подумать Николай Васильевич и кого менее всего ожидал он услышать.

– Саша? Саша Данилевский? – негаданное заочное появление старого друга, казалось, взбодрило писателя и ненадолго вернуло к жизни. Он встал и заходил по комнате.

– Так точно, ваше благородие. Утром еще солдат из жандармерии принес.

В записке говорилось, что Данилевский хочет увидеть Гоголя по важному делу, что будет признателен его визиту на службу, поскольку совершенно не имеет времени для посещения в не служебное время и вечно будет обязан, если тот найдет время сходить к нему. Кляня Языкова за его задумку с этим идиотским обществом, наверняка по поводу участия в коем вызывают писателя в Третье отделение (а зачем же еще?), Гоголь все же не без воодушевления собрался и отправился на прием к старому другу, на прежнее место службы, с которым ассоциировались еще в голове его воспоминания молодости.

Данилевский не скрывал радости от встречи. Приятели обнялись и сразу разговорились о последних событиях в жизни Николая Васильевича, которая была куда более наполнена интересными деталями, нежели, чем жизнь рядового следователя полиции.

– Как ты? Я слышал, вернулся только что из Рима?

– Да, но не эта поездка была для меня главным событием последних дней. Ты ведь знаешь, Италия – моя давняя любовь, так что тут ничего нового. А вот Иерусалим…

– Ты и там успел побывать? Но когда?!

– Незадолго до этого. И не просто побывать, а даже отыскать там копье Лонгина и привезти его с собой. Правда, с собой я прихватил еще и малярию, которая мучает меня почитай уж целый месяц, но, думаю, посещение Гроба Господня стоит того, чтобы немного помучаться.

– На какие же мысли тебя навело твое путешествие?

– О, мыслей много. Очень. В основном все о христианской вере, о православии, о том, что жил неправильно, не те идеалы проповедовал…

– Ну вот! – всплеснул руками Данилевский. – Как ты можешь говорить эдакое? Разве твои «Мертвые души» и «Ревизор» не есть обличение, сатира пороков человеческих во всей их нечистоте?! А обличать еще, кажется, апостол Павел предписывал! Так кто же из нас более живет по Богу, чем ты?

– Дело не в этом. Я ведь лучше знаю, что руководило мной при написании этих вещей – не более, чем жажда славы. Она же в свое время увела меня из Третьего отделения…

– …и привела к большему! Верно ведь говорят, что стучащему откроется!

– Привела она меня к себялюбию высшего порядка. Как же, посмотрите, какой писатель! Как смело перо его, как новы темы! Он берется за то, за что прежде вовсе никто не брался, а все почему? Так ли он хочет усовершенствовать общество, в котором живет? Или же просто необычным изложением вполне обычных замечаний жизни старается привлечь к себе внимание? Как труды его способны изменить жизнь страны нашей? Никак, ровным счетом. Так зачем же он тогда пишет? Не иначе ради сияния светской жизни, к которой привык и которая так мила ему.

– Ну, полно себя стыдить, – улыбнулся Данилевский. – Если ты так рассуждаешь, то мне и таким, как я, вообще впору в петлю лезть.

– Не думаю. Беда вся в том, что ты на своем месте, а я нет. Взыщется, взыщется с меня за то, что мало оставляю в научение и назидание будущим поколениям. Значит, не в полной мере делаю я то, к чему обязывает и чего требует судьба писателя. А что ты? Ты на службе целиком и полностью отдаешься ей, и менять что-то – вне твоей юрисдикции. От тебя иное требуется, и ты справляешься, а вот, справляюсь ли я? Видишь ли, тебя может оценить хоть твое начальство, а меня, кроме потомков да Господа, и оценить некому. Оттого и страдаю я, не в силах разрешить противоречия между мыслью своей и реальной оценкой ее со стороны. Критиканы подливают масла в огонь, не понимая, что я сейчас воспринимаю любое слово в своей адрес как оголенный нерв…

– Понимаю, – погрустнел и посерьезнел Данилевский. – Сочувствую и соболезную по причине внезапной смерти сестры твоей, Александры Ивановны. Всегда обидно и особенно горько, когда уходят люди в таком молодом возрасте, да еще без видимых к тому причин…

– Ну почему же? У нее, кажется, была горячка. Мать писала мне об этом…

– Что ж, пришло время рассказать тебе, что именно по этой причине я тебя и пригласил. Видишь ли, мы получили письмом донесение от начальника тамошней полиции о том, что смерть ее была вызвана вовсе не горячкой, а иными причинами…

– Иными? Но какими?

– Говорят, будто бы ее сильно избили перед кончиной.

– Но кто?

– Не сообщается. Начальнику полиции донесли, а одно только донесение к делу не пришьешь, нужно провести следствие.

– Ну и что же мешает местному отделению провести расследование? Почему он вам об этом пишет? Мало разве дел в Третьем отделении?

– Вот, – довольно улыбнулся Данилевский, встал со стула и начал ходить по кабинету как тигр в клетке. Так всегда бывало, когда находил он что-нибудь необычное и интересное в своей, кажущейся повседневной, работе. – В том-то и дело, что мешает ее отец, это раз…

– А, старый Яновский. Что ж, это вполне в духе его строптивого нрава и общей жестокости и нетерпимости к людям.

– Но это бы еще полбеды. После смерти ее случилось нечто, что никак не может оставить нас в стороне от случившейся трагедии. Видишь ли, согласно ее последней воле, сообщенной отцу устно накануне кончины бедняжки, она завещала читать отходные по ней некоему бурсаку Хоме Бруту, что был крепостным у Яновского.

– Бруту??? – Гоголя сказанное Данилевским потрясло до глубины души. Он поймал себя снова на нехристианской и эгоистической мысли о том, что все же мысли ее больше были адресованы холопу, а не ему, который не только больше понимает в Библии и христианском вероучении, но и открыл ей саму суть Священного Писания, о котором прежде она судила по одним только детским картинкам. Эту мысль он осек и тут же постарался от себя отогнать, но без толку.

– Именно ему. Причина такого выбора непонятна – ни митрополит, ни монах, даже не чернец, а всего лишь какой-то бурсак. И все же настрого наказал ему Иван Афанасьев читать по ней отходные все три дня. Вернее, три ночи. Тот отчитал. А после, наутро четвертого дня, был найден в церкви мертвым…

Последние слова буквально ошарашили Гоголя. Если до настоящего момента он и мог считать свое видение в Английском проспекте, где была штаб-квартира «Мучеников ада», и последовавшую за этим смерть Александры случайными совпадениями, то выбор Хомы и, тем более, его смерть, никак не вписывались в представления о случайности. Не в силах отыскать связующую нить между этими трагическими событиями, но уже всерьез заинтересовавшись ее поиском, автор «Майской ночи, или Утопленницы» почувствовал вдруг жжение внизу живота – так бывало всегда, когда нечто необычное и интересное случалось с ним. Умом он так же понял, что негоже испытывать подобное мирское и грешное любопытство к столь сакраментальным вещам, но остановиться уже не мог.

– И как же причина смерти?

– И снова загвоздка и тут. Видишь ли, была у твоей сестры еще одна последняя воля, так же в точности исполненная ее отцом – захоронить ее и Хому в одной могиле.

– Как – в одной? Обычно так хоронят членов семьи, родственников, супругов. Зачем класть в одну могилу представительницу знатного рода и крепостного?

– По слухам, Иван считает, что между покойными были некие отношения, скажем так, выше дружеских. И потом – что такое одна могила? Кенотаф, традиция. Не в одном же гробу! Так что, в принципе, ничего сложного тут нет, но беда состоит в том, что похоронили его до врачебного осмотра и вообще с рекордной скоростью – чуть ли не в день смерти, одновременно с похоронами Александры Ивановны, и потому установить причину смерти нет никакой возможности.

– А как же эксгумация?

– Это возможно только с согласия родственников. У Хомы таковых не было, а Иван, по непонятной нам причине, категорически против этого возражает. Я бы понял еще его несогласие с установлением истины по делу, будь он человек верующий и ссылающийся в этой связи на позицию церкви. Но ведь он, как говорят, ни в Бога, ни в черта не верит! И все равно возражает!

– Любопытно. И что же ты думаешь делать в этой связи?

– По совести говоря, надо туда выехать. Но поездка не принесет никакого толку, если эксгумировать тела Хомы и Александры не удастся. Точно так же, как и местный полицмейстер, мы ограничимся сбором слухов, и возвратимся оттуда не солоно хлебавши.

– Ты предлагаешь мне уговорить Ивана Яновского? Думаю, это бесполезно. Я – не вполне подходящая для этого кандидатура. Он, кажется, считает меня несколько чудаковатым, да и вообще…

– Нет, мне потребуется от тебя несколько иная помощь.

– Но какая?

– Ты являешься родственником Александры, и тоже можешь дать согласие на эксгумацию.

– И навсегда разорвать связи с малой родиной? С матерью и братом моего отца?

– Пойми, что речь идет о чем-то большем, чем рядовое расследование убийства. Видишь ли, тот доносчик, что написал первое письмо на имя местного полицмейстера, уверял, что будто бы ее избили местные жители, что и послужило причиной смерти в столь раннем возрасте!

– Быть этого не может! – категорично отрезал Гоголь. – Если бы это было так, то Иван непременно бы дознался до истины и так сурово наказал обидчиков ее, что тем бы жить вовсе не захотелось.

– Может, дело в другом?

– Но в чем?

– Может, он все знает и потому и не наказывает виновников и воспрещает проводить следствие, что опасается чего-то.

– Ему-то чего опасаться? Он пожилой человек уже, да и живет там всю жизнь.

– Говорят, что она была ведьмой, потому ее и избили местные крестьянки. Застали во время участия в ведьмином шабаше!

– Ты это серьезно? – улыбнулся писатель. – Я где нахожусь, в секте сумасшедших или в кабинете следователя?

– А я? С кем я разговариваю? Со знаменитым ли потомком рода Яновских, который родился и вырос на Украине и знает, что нет в тех дивных местах ничего невозможного, и который много раз писал об этом, или со столичным ханжой, с зевакой, который все на свете отрицает и ни во что не верит? Ты ведь отлично понимаешь, что дело тут нечисто, и понимаешь также, что, если не ты, то некому будет установить истину и помочь в осуществлении правосудия. Смерть в церкви уже сама по себе наталкивает на многие мрачные мысли. Чего стоит хотя бы старое, как мир, выражение о том, что там, где Бог строит церковь, дьявол пристраивает часовню?! А твое служение? Где оно, в чем? В том, чтобы проводить жизнь, стоя в молитвах в святых местах, или в том, чтобы истинно помогать людям, когда это в твоих силах?

– Но как я помогу? Ее ведь все равно уже не вернешь.

– Не вернешь, это верно. А только ты сможешь предотвратить новые смерти в Сорочинцах, которым непременно быть, если не прервать кровавую цепочку. Обязательно продолжится то, что уже началось, ибо понятно – была она ведьмой или нет, на шабаше или нет, но по какой-то причине твоя сестра пробудила к жизни то, что много лет таилось на дне Днепра, в самой глуши тамошних лесов и в закромах человеческого сознания живущих там людей. И это что-то – явно недоброе, коварное, опасное для человека. Не знаю, как ты, а я для себя решил, что преступлением по отношению к людям будет с моей стороны пройти мимо. Не желаешь мне помочь – дело твое, а только я буду сражаться со злом до конца, чего бы мне это не стоило. Хотя бы во имя родины нашей и тех светлых лет, что провели мы когда-то вместе в Нежинской гимназии…

Разве могут такие слова оставить равнодушным, а, тем более, писателя? И он бы уже согласился, если бы не одно обстоятельство, мешавшее его немедленному возвращению на малую родину…

Глава восьмая. Копье

После посещения Данилевского доселе больной писатель буквально влетел в свою квартиру, чем немало удивил и привел в смущение Семена. Он приказал слуге собираться, а на его вопрос об очередном месте дислокации ответил коротко:

– Домой.

– К Марии Яновне?

– И к Ивану Афанасьевичу.

– Это-то все неплохо, – с рассудительностью, свойственной слугам, отвечал Семен. – А вот только на что ехать-то?

– Что ты имеешь в виду?

– Не совестно опять у Марии Яновны просить? Все ведь деньги в Риме да в Иерусалиме прокутили, а за квартиру в этот месяц еще не плачено.

Гоголь остановился и присел на тахту в прихожей. Семен был прав, денег и впрямь практически не оставалось, что сильно озадачило Николая Васильевича – и дело было даже не в совести, которая мешала попросить средств у матери, а в том, какой вид он будет иметь, озвучивая свою просьбу. Соглашаясь на предложение Данилевского, писатель четко понимал, что войдет в состояние вражды со своей семьей, которая категорически не приемлет эксгумации тела сестры, и переубедить мать, женщину старых правил и закоснелых взглядов, у него вряд ли получится. В такой обстановке просить об одолжениях было бы верхом безнравственности с его стороны. Но и обещание другу детства и юности он уже дал. Писатель оказался между двух огней, и времени на принятие решения практически не оставалось. Его несчастью, как обычно бывает в таких ситуациях, помог случай – все-таки дело было богоугодное, и обойтись без помощи Всевышнего в таком вопросе он не мог.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло». В неурочный час сборов, от которых упрямый Яновский не желал отказаться даже по причине недостаточности средств на пороге его квартиры показался впавший волею случая и своей недальновидности в опалу Языков.

– Здравствуй, – робко произнес он, на полусогнутых входя в комнату писателя.

– А, и ты здесь. Не ждали, не ждали.

– Не пригласишь?

– Сюда? Зачем? Я полагал, мы встретимся на очередном заседании клуба любителей магических заклинаний?

– А я полагал, ты там больше не появишься?

– Ты как всегда, в точку. Но извини, у меня сборы, а они как пожар. Так что давай обсудим твое и мое поведение как-нибудь в другой раз.

– Я вижу, ты сердишься.

– Наблюдательный человек. Поэт. Нечего сказать.

– Перестань ерничать, прошу тебя. С того злосчастного вечера я места себе не нахожу.

Гоголь поднял глаза и посмотрел на друга. С любым иным после всего, что случилось, он бы разговаривать не стал, но здесь – то ли старые добрые отношения сыграли роль, то ли болезнь Языкова (у него был нейросифилис), периодически осложнявшаяся и превращавшая великого поэта в еле стоящее на ногах существо пробудила к нему жалость со стороны Николая. Поэт спал с лица, был бледен, с трудом говорил и опирался на дверной косяк. Гоголь, с малолетства альтруистичная и человеколюбивая натура, не мог созерцать сие равнодушно – он почувствовал себя обязанным поговорить с другом и предложил ему сесть.

– Ты уезжаешь?

– Да, мне срочно надо вернуться в Полтаву. Случилось нечто, что требует моего присутствия. Семейные дела.

– Понимаю. Все же я пришел сюда, чтобы извиниться перед тобой… Я не хотел, я не думал, что все так получится…

– Пустяки. Когда я услышал название той организации, то должен был сам все понять и ретироваться, не дожидаясь всевозможных проявлений бесовщины. Так что взрослый человек, сам виноват…

– Нет, ты не понял. Мне кажется, твой приход туда не был ошибкой. Он носил сакраментальное, даже магическое значение.

– Ну уж это слишком. При всем уважении к тебе я не намерен продолжать посещать эти, с позволения сказать, собрания…

– Что ж, была бы честь предложена. Решать, разумеется, тебе.

Когда Языков уже собрался уходить, Гоголь остановил его:

– У меня к тебе только один вопрос.

– Спрашивай.

– Ты тоже видел?

– Что именно?

– То, что видел я…

– А о чем речь? Или о ком?

– Перестань, прошу тебя. Мы же не на приеме у психиатрического врача. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Не просто же так я убежал в тот вечер с собрания…

– Видишь ли, моя болезнь последнее время прогрессирует. Будучи обреченным в молодом еще возрасте на скорую смерть, я не верю ни в Бога, ни в черта, потому и пошел туда. Мне показалось, что, если председатель прав в своих рассуждениях, и мы действительно живем в сущем аду, то только дружба с его предводителем может обеспечить мне более или менее приемлемую жизнь за порогом той сатанинской комнаты, что скоро станет моим жилищем. К кому я только не обращался, и все без толку. Человек слаб, и только высшая сила может помочь в спасении души, и, прости, я не верю в то, что это Бог…

– Прекрати ходить вокруг да около! Ответь на мой вопрос.

– Так вот о болезни. Недуг мой иногда подвигает слабеющий разум к различным галлюцинациям; и что только мне не мерещилось за последние полгода, лучше даже не пересказывать!

– Значит, ты тоже его видел? Всадника?

– Я списал это на болезнь, но сейчас вижу, что дело в ином. Тебе не надо покидать общества, ибо… то, что тебе привиделось, не было видением…

Гоголь верил Языкову, но в глубине души списывал его откровение на желание оставить его в числе «Мучеников ада» любым способом. Хотя, что, если он не врал? Что, если видение было правдой?

– Ты хочешь сказать, что я должен остаться, чтобы снова и снова встретиться с ним? Чтобы стать, в конце концов, его жертвой? Наши с тобой взгляды на загробную жизнь не совпадают и не совпадут никогда, так что, думаю, твое предложение – не более, чем бред.

– Что ж, тогда у меня к тебе есть встречное предложение. Ты можешь избавиться от видений раз и навсегда, если отречешься от своей находки. Тебе ведь, кажется, уже более, чем внятно объяснили, что вещь эта дьявольская, ему и принадлежит. И, если ты вернешь ее ему, как знать, но по логике все должно для тебя закончиться.

– Вернуть? Но как?

– Не безвозмездно, конечно, но все же есть много завидующих тебе людей.

– Моему таланту завидовало часто и многие, но…

– Речь не о таланте, а о копье. Продай его, назначь любую цену – и вы расстанетесь с его истинным владельцем до дня Страшного Суда. Тем более, есть люди, нуждающиеся в нем и готовые заплатить неплохую цену.

– Уж не ты ли?

– Э нет, – рассмеялся Языков. – Мое финансовое состояние тебе известно, и оно плачевно, хотя и я бы не отказался вступить во владение таким даром. Но я знаю человека, который заплатит тебе сколько угодно, лишь бы обменяться с тобой ролями в этом дьявольском представлении!

– И о ком же идет речь?

– Ты видел его на том собрании, но, возможно, не запомнил. Фамилия его достаточно известна в Петербурге, но тебе, боюсь, ничего не скажет, учитывая твои постоянные разъезды в последнее время. Кольчугин.

– Он хочет купить копье?

– Очень. Он собирался поговорить с тобой еще тогда, на собрании, но, сам видишь, что обстоятельства твоего ухода уже не располагали к общению. Признаться, я и привел тебя туда, чтобы свести и познакомить с ним, а потом все пошло иначе. После появления всадника, который, как выясняется, видели не только мы с тобой, но лишь мы нашли в себе мужество сознаться в этом, желание его только усилилось. А, коль скоро посещать то место ты более не желаешь, я пришел сейчас просить твоего разрешения ему тебя навестить дома. Когда ты отбываешь?

– Еще не знаю. Поездка предстоит длительная и, судя по всему, многотрудная, требующая финансовых вложений, а вот их-то у меня как раз сейчас нет.

– И мы еще ждем! – настроение Языкова заметно улучшилось, он даже вскочил со стула и как будто порозовел, услышав сказанное. – На ловца и зверь бежит. Чем скорее вы встретитесь с ним, тем скорее поможете друг другу решить по одной наболевшей и важной проблеме. Ты ведь со мной согласен?

– Делай, как знаешь.

Купец, пришедший, чтобы заняться своим привычным делом, выглядел как самый настоящий купец, сошедший со страниц русских народных сказок: хромовые сапоги, жилетка, пиджак, часы на золотой цепочке. Правда, все было новое, качественное, хорошего кроя, но вкупе сидело на собеседнике Гоголя как на корове седло. Форменный набоб, вчера приехавший из уездного города и бросившийся сорить деньги в погоне за новомодными развлечениями, к числу которых он явно относит и «Мучеников ада», он, по здравому разумению Гоголя, даже не понимал, что покупает. Не собственно привилегии владельца копья, коих писатель не ощутил за последнее время, а то чинопочитание, что даст ему обладание реликвией в обществе сумасшедших адептов, привлекает его. Что ж, дается просящему -тому, кому нужнее, – а потому Николай Васильевич решил не особо сопротивляться сделке. В конце концов, пользы от найденного сомнительного артефакта он не получал, а деньги ему были сейчас крайне нужны.

– Итак, вам нужно копье?

– Да-с, господин писатель, – глупо и надменно, не зная правил хорошего тона, обратился к нему в ответ Кольчугин. – Вы, насколько я знаю, больше нашего общества посещать не хотите и вообще собираетесь уезжать, а мне такая негоция принесет значительную пользу. Думаю, как и вам – в денежном выражении.

– И какую именно, на ваш взгляд?

– Думаю, сумма в десять тысяч рублей должна вас устроить…

«Да, этот явно в деньгах не нуждается, – умозаключил писатель, окидывая собеседника презрительным взглядом. Все богопротивное и нехристианское сейчас сосредоточилось для него в этом самолюбивом стяжателе. – А с виду не так уж и стар, значит, не заработанное отдает, вот и легок в расчетах».

– Однако, вы предлагаете мне такие деньги. Но понимаете ли, за что?

– В каком смысле?

– В смысле – зачем вам копье?

Тот по-купечески усмехнулся в усы и ответил:

– Ну, это уж мое дело.

– Как и то, разумеется, что копье Лонгина было найдено задолго до нас, и сейчас похожие на него артефакты хранятся в музеях едва ли не всего мира?

– А это тут причем?

– А при том, что вы вполне можете заплатить ни за что. За простой кусок железа, который не принесет ожидаемых результатов. Да и потом – сама по себе вера в подобные вещи противоречит христианской морали, ну да об этом я уже не говорю. Вы ведь верующий человек?

– Вот только не надо, – отмахнулся Кольчугин. – Это мое дело, а вы нес священник, чтобы меня исповедовать. Я же не спрашиваю, зачем это вам деньги понадобились?

– А я и не скрываю. Я еду в Полтаву, чтобы расследовать убийство моей сестры, совершенное в тот день и даже, возможно, в ту минуту, когда мы с вами в Петербурге стали свидетелями появления всадника.

Слова Гоголя произвели на купца ожидаемый эффект – его словно током ударило. Писатель решил зайти с другой стороны, чтобы предупредить заблудшую овцу от, возможно, рокового шага – но, между тем, сам не был уверен в силе талисмана. Вполне может быть (и скорее всего), это всего лишь череда не связанных событий, а в отсутствие точного знания о природе появления призрака и причинах смерти Александры, утверждать о чем-либо он не может. Но и снять с себя ответственность тоже не помешает, решил он. Впрочем, тут библейская история повторилась в точностью – поначалу испугавшись, купец едва ли стал не готов увеличить сумму сделки, так сладок был для него ставший вмиг запретным плод.

– Извольте, Николай Васильевич, мы же разумные люди, – зажурчал Кольчугин.

– Не продолжайте. Будь по-вашему. Я вас предупредил, а предупрежденный, как известно, вооружен.

– По рукам.

Кольчугин вышел от Гоголя затемно, надвинув шляпу и укутавшись в плащ и, мигом поймав извозчика, отбыл к себе на квартиру. Приобретение теперь тяготило его своей значимостью – особенно после рассказа писателя, – но и блага, что оно сулило, не могли оставить равнодушным надменного нувориша. А вот самому Николаю Васильевичу стало как будто легче. Словно камень сняли с его души, что позволило ему проспать ночь перед дорогой так крепко, как он никогда не спал за последний месяц. Или ему так показалось…

Доктор Сигурд Йоханссон. О копье Лонгина и ближнем круге Гоголя

Доподлинно неизвестно, отыскал ли Гоголь во время своего пребывания в Иерусалиме настоящее копье Лонгина или его копию, однако, все историки единодушны во мнении, что посещение святого места писателем не прошло бесследно для его здоровья- он действительно подхватил там малярию, которая очень скоро, развиваясь в его изношенном организме, стала давать осложнения в работе мозга. Это способствовало учащению его провалов в памяти и вообще ухудшению психического здоровья. Пребывание в Иерусалиме не произвело того действия, какого он ожидал. «Ещё никогда не был я так мало доволен состоянием сердца своего, как в Иерусалиме и после Иерусалима, – говорит он. – У Гроба Господня я был как будто затем, чтобы там на месте почувствовать, как много во мне холода сердечного, как много себялюбия и самолюбия». Свои впечатления от Палестины Гоголь называет сонными; застигнутый однажды дождём в Назарете, он думал, что просто сидит в России на станции.[10] Однако, к этому же времени относится небывалый взлет Гоголя – христианина, причем, православного толка.

Гоголь решает уйти в монастырь и стать монахом, но монашество не состоялось. Зато его уму представилось новое содержание новой же книги, просветлённое и очищенное; ему казалось, что он понял, как надо писать, чтобы «устремить всё общество к прекрасному». Он решает служить Богу на поприще литературы. Началась новая работа, а тем временем его заняла другая мысль: ему скорее хотелось сказать обществу то, что он считал для него полезным, и он решает собрать в одну книгу всё писанное им в последние годы к друзьям в духе своего нового настроения и поручает издать эту книгу Плетнёву. Это были «Выбранные места из переписки с друзьями» (СПб., 1847).

Большая часть писем, составляющих эту книгу, относится к 1845 и 1846 годам, той поре, когда религиозное настроение Гоголя достигло своего высшего развития. 1840-е годы – пора формирования и размежевания двух различных идеологий в современном ему русском образованном обществе. Гоголь остался чужд этому размежеванию несмотря на то, что каждая из двух враждующих партий – западников и славянофилов, предъявляла на Гоголя свои законные права. Книга произвела тяжёлое впечатление и на тех, и на других, поскольку Гоголь мыслил совершенно в иных категориях. Даже друзья-Аксаковы отвернулись от него. Гоголь своим тоном пророчества и назидания, проповедью смирения, из-за которой виднелось, однако, собственное самомнение; осуждениями прежних трудов, полным одобрением существующих общественных порядков явно диссонировал тем идеологам, кто уповал лишь на социальное переустройство общества. Гоголь, не отвергая целесообразности социального переустройства, основную цель видел в духовном самосовершенствовании. Поэтому на долгие годы предметом его изучения становятся труды отцов Церкви. Но, не примкнув ни к западникам, ни к славянофилам, Гоголь остановился на полпути, не примкнув целиком и к духовной литературе – Серафиму Саровскому, Игнатию (Брянчанинову) и др.

Впечатление книги на литературных поклонников Гоголя, желающих видеть в нём лишь вождя «натуральной школы», было удручающее. Высшая степень негодования, возбуждённого «Выбранными местами», выразилась в известном письме Белинского из Зальцбрунна.[11]

Гоголь завершил свой писательский путь «Выбранными местами из переписки с друзьями» – христианской книгой. Однако её до сих пор по-настоящему не прочли, по мнению

---

[10] И.П.Золотусский. Гоголь. – 6-е изд. – М.: Молодая гвардия, 2009. – С. 45—46. – 485 с. – (Жизнь замечательных людей). – 5000 экз. – ISBN 978-5-235-03243-.

[11] ФЭБ: Белинский. Письмо к Гоголю от 15/3 июля 1847 г. – 1952 (текст)

известнейшего гоголеведа Игоря Золотусского. Начиная с XIX века принято считать, что книга является ошибкой, уходом писателя в сторону со своего пути. Но возможно, она и есть его путь, и даже более, чем другие книги. По словам Золотусского, это две разные вещи: понятие дороги («Мёртвые души» на первый взгляд – дорожный роман) и понятие пути, то есть выхода души к вершине идеала. Так что совершенно однозначно можно утверждать о приобщении Гоголя к тайному знанию во время вояжа в Иерусалим. К тому великому знанию, что мы еще не до конца поняли, и неизвестно, когда еще поймем, как правильно замечает литературовед!

По окончании поездки он действительно отправился в имение матери в Сорочинцах или близ них.

Такое странные и противоречивые результаты поездки к святому, казалось бы, месту, вызывали нарекания и вопросы со стороны ближайшего окружения Гоголя, в круг коего входил и знаменитый поэт Николай Михайлович Языков. Познакомились они, когда поэт, также страдавший различными болезнями, как и Николай Васильевич, находился на лечении «на водах» в Ганау, где и сблизился с Гоголем, который в 1842 году повёз его с собой в Венецию и Рим. Гоголь называл Языкова своим любимым поэтом: «Имя Языков пришлось ему недаром. Владеет он языком, как араб диким конём своим, да ещё как бы хвастается своею властью». «Землетрясение» Языкова великий писатель называл «лучшим русским стихотворением». [12] Дружба их вначале была горячей и искренней, хотя выражалась преимущественно в сочувственном отношении каждого из них к таланту другого, свойственной им обоим религиозности и сходных телесных недугах. Из-за мелких житейских дрязг они под конец жизни расстались, но продолжали переписываться.

Был среди его друзей и небезызвестный Александр Семенович Данилевский, упомянутый авторами. Он родился 28 августа 1809 года в родовом поместье Семереньки, Полтавской губернии. После смерти своего отца, в раннем детстве Данилевский переехал вместе с матерью в имение отчима. В 1818 году учился в Полтавской гимназии. В 1822 году Данилевский поступил в Нежинскую гимназию высших наук, куда за год до того был принят Николай Гоголь. В Нежине определились их первые духовные интересы: втроём с Н. Я. Прокоповичем они выписывали журналы и альманахи, читали «Евгения Онегина». Данилевский участвовал и в театральных постановках, которыми увлекались нежинские лицеисты. Некоторое время Данилевский был в московском университетском пансионе.

В июне 1828 года Данилевский и Гоголь окончили Нежинскую гимназию действительными студентами и в декабре того же года выехали в Петербург, где Данилевский поступил в школу гвардейских подпрапорщиков. В 1831 году Данилевский оставил школу и уехал из Петербурга. Жил на Кавказе у своей матери до 1833 года и, вернувшись в Санкт-Петербург, поступил на службу в канцелярию министерства внутренних дел.

Думается, что назначение это состоялось также не без участия Гоголя, который в то время, благодаря протекции Фаддея Булгарина, также поступил на службу в Третье отделение.[13]

В 1836 году вместе с Гоголем Данилевский отправился за границу. Зимой 1837 года Гоголь уехал в Рим, а Данилевский обосновался в Париже. В 1838 году Данилевский получил известие о смерти своей матери и благодаря поддержке Гоголя, – и нравственной, и материальной – выехал в Россию, где продолжил службу в Третьем отделении. [14]

---

[12] Живые страницы: А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, М. Ю. Лермонтов, В. Г. Белинский в воспоминаниях, письмах, дневниках, автобиографических произведениях и документах. – М., 1970. – С. 286.

[13] В. В. Вересаев, «Гоголь в жизни». Том 1. М., АСТ, 2017 г., ISBN: 978-5-17-982457-2.

[14] Шенрок В. И. Н. В. Гоголь и А. С. Данилевский // Вестник Европы. 1890. Т. 1. №1; 2. С. 71—118; 563—619.

Сложно сказать, кто из них именно привел Гоголя в секту «Мученики ада», но фактом остается то обстоятельство, что он длительное время состоял в рядах ее членов и жертвовал ей практически все свои гонорары.[15]

Гоголь вернулся из Иерусалима другим человеком – и в этом проявилось влияние его удивительной находки, которая оказывала на носителей своих поистине магическое воздействие. Гоголя как писателя она приблизила к некоему высшему духовному знанию, которое при жизни дается далеко не каждому «инженеру человеческих душ» и которым не каждый в состоянии достойно распорядиться. Николай Васильевич приступил к написанию серьезных нравственно-философских трактатов, о которых мы сказали выше, которые были поняты далеко не всеми его современниками – как иногда большинством живущих очевидцев отвергаются догматы священных писаний. Чтобы понять истинную причину его преображения, надо особо сказать о так называемом «копье Лонгина» и той магической силе, которое, как верили члены секты, имеет оно для своего обладателя.

Известный факт: однажды в Болгарии Гитлер в окружении конвоя приехал к легендарной Ванге и, попросив охрану не входить в дом, уединился с ней, а через некоторое время буквально выбежал из жилища, громко крича и ругаясь. Уже со слов самой Ванги мы знаем, что он попросил рассказать будущее – как видит его она. Ванга ответила, что не желает работать с ним, поскольку он не хороший человек, на счету которого множество смертей, а еще больше людей погибнет в будущем. Единственное пророчество, сделанное ею Гитлеру, касалось предстоящей войны. Она сказала, что будущего у него два, в одном случае он будет жить долго и обретет деньги, но потеряет власть, а в другом случае будет у власти, но слишком короткое время, после чего будет убит, а вся его идеология рухнет, равно как исчезнет все, что было создано им. И отправная точка пути, от которой зависит будущее – это война с Россией. Крах Гитлера ждал, если он пойдет на Россию с войной. Именно это пророчество и взбесило вождя, именно его он ослушался, а к чему все это привело – мы знаем из мировой истории. Почему же Гитлер, так доверяющий предсказателям ослушался Вангу, имевшую в те времена невероятный авторитет? Многие исследователи считают, что причина этого в некоем артефакте, имеющем название «копье Лонгина» – согласно Евангелию от Иоанна, одно из Орудий Страстей, пика, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте. Как и все Орудия Страстей, копьё считается одной из величайших реликвий христианства.

Гитлер верил (а может быть его убедили в этом «придворные» гадалки, экстрасенсы и астрологи, к советам которых он всегда прислушивался), что обладая им, он способен менять ход истории, подчинять себе разум людей, управлять судьбами и реально творить чудеса. «Копье Лонгина», которое для идеологов «тысячелетнего Рейха» являлось бесценным магическим атрибутом, а по сути представляло собой простой, невзрачный железный наконечник древнего копья, считавшейся одной из главных святынь христианского мира (вторым значимым атрибутом, по западнохристианской шкале ценностей после Чаши Грааля) хранилось в венском музее Хофбург – бывшем дворце Габсбургов, австрийских императоров.

По одной из легенд, именно этим копьём римский центурион Гай Кассий Лонгин, ударил распятого Иисуса Христа между 4 и 5 ребром, проткнув плевру, лёгкое и сердце, но не повредив костей. Копье перешло к отцу Гая от деда, служившему в армии Германика, а затем к Гаю. По преданию Гай Кассий командовал римским отрядом, охранявшим Голгофу, и нанес Иисусу копьем «удар милосердия» в подреберье. Иосиф Аримафейский собрал кровь Христа в чашу Грааля, снял его тело с креста, обвил плащаницей и положил в гроб. Во время казни Иисуса Гай Кассий уверовал в него как в Сына Божьего, он стал христианином и впоследствии был канонизирован как святой под именем Лонгин. Сразу же после «удара милосердия» копьё по легенде обрело свой священный статус, оно стало одной из важнейших реликвий христианского мира.

[15] Лобков Д. Мистика в жизни выдающихся людей. – М., Энтраст-Трейдинг, 2015 г., ISBN: 978-5-386-07968-0

Считается, что Лонгин проткнул копьем уже мертвого Иисуса (зачем?), но многие ученые, включая Цельса, эту точку зрения опровергают.[16] Зачем тыкать в мертвое тело? Кому, как не легионеру, уметь отличить мертвого от живого, и потому думается, что Лонгин ударил копьем живого еще Христа, с одной – единственной целью, с которой били людей копьями еще до эпохи исторического материализма.

Существует ряд средневековых легенд, в которых рассказывается о предыстории копья, прежде чем оно попало в руки Лонгина (по тому же принципу была создана предыстория другого орудия Страстей – Животворящего Креста). Согласно им, изначально оно принадлежало Финеесу, внуку Аарона и третьему по счёту первосвященнику Иудеи, пронзившего копьём Хазву мадианитянку. Он приказал отковать это копьё в качестве символа магических сил крови израильтян как избранного народа. Затем с этим копьём бросился в атаку на укрепленный Иерихон Иисус Навин. Упоминали также, что именно его Саул бросил в юного Давида в бессилии и ревности к будущей славе. Другим владельцем копья был Ирод Великий.

Легенды также рассказывают о судьбе копья после Распятия Христова, называя в его числе следующих владельцев:[17]

им владел Константин Великий в битве у моста Милвиус;

им владел король готов Теодорих I, который благодаря ему победил орды Аттилы в 451 году при Труа;

им владел Аларих;

император Юстиниан;

Карл Мартелл сражался им при Пуатье в 732 г.;

Им владел Карл Великий. Его вера в силу талисмана была такой сильной, что он постоянно держал его рядом с собой.

Но вот тут начинается самое интересное. Жан Кальвин в богословском сочинении Трактат о реликвиях 1543 года, посвященном подлинности многих христианских реликвий, включая как мощи, так и контактные реликвии, находящихся в храмах и монастырях Западной церкви, сообщает о четырёх известных ему копьях, имеющихся в разных храмах и претендующих на подлинное Копьё Лонгина: одно в Риме, другое в Сент-Шапель в Париже, третье в аббатстве Теналь в Сентонже; четвертое в Сельве, недалеко от Бордо. И он недалек от истины – копьев-то действительно несколько!

Одно из них находится в Армении и с XIII века хранится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря. До этого копьё находилось в Гегардаванке (в переводе с армянского – Монастырь копья), куда было принесено, как считается, апостолом Фаддеем.

Другое хранится в Базилике святого Петра в Риме. Оно отождествляется с копьём, хранившимся в Константинополе, а прежде в Иерусалиме, по крайней мере с VI века. Первое упоминание о копье встречается у пилигрима, известного как Антоний из Пьяченцы (570), который, совершив паломничество в Иерусалим, написал, что в храме Святого Сиона он видел «…терновый венец, которым был увенчан наш Господь, и копьё, которым он был пронзён». В 614 г. Иерусалим был захвачен персами, к ним же попали и все Страстные реликвии. Согласно Пасхальной хронике наконечник копья был отломан, и в том же 614 году оказался в Константинополе, где с тех пор хранился сначала в храме Святой Софии, а позже в церкви Фаросской Богоматери вместе с другими святынями христианства. Впрочем, по другим сообщениям, копьё продолжало оставаться в Иерусалиме на галереях храма Гроба Господня. Епископ Аркульф, побывавший на Святой земле ок. 670 г., говорил следующее: «…копие нахо-

[16] Цельс. Правдивое слово. В кн.: Ранович А. Б. «Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства». М. 1990.

[17] Лидов А. М. О константинопольском прототипе царского храма // Материалы и исследования. Выпуск XIX. Царский храм. Благовещенский собор Московского Кремля в истории русской культуры. – М.: Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль», 2008. С. 7—42.

дится вделанным в деревянный крест в портике базилики Константина; древко этого копья расколото на две части…»[18], то же видел и византийский паломник первой половины IX в. Епифаний. «А между темницей и распятием есть двери святого Константина… Здесь же лежат Копие, и Губка, и Трость…».[19] После IX в. сведений о нахождении копья в Иерусалиме в источниках нет. В Константинополе он оставался до 1492 года, когда был подарен султаном папе Иннокентию VIII, увезён в Рим и помещен в соборе Святого Петра.

Самым же известным является, несомненно, венское копье. Это железный наконечник для средневекового копья, который крепился на деревянном древке. Длина такого копья в два раза превышала рост воина-пехотинца. Длина наконечника – 50,8 см, ширина – 7,9 см. Стальной наконечник состоит из двух частей, скреплённых серебряной проволокой и стянутых золотой муфтой-накладкой. В лезвие наконечника вставлен кованый гвоздь, который, согласно легенде, является одним из Орудий Страстей. Гвоздь прикручен к полости лезвия наконечника серебряной проволокой. Надпись на золотой накладке гласит: «Копьё и Гвоздь Господни» (лат. LANCEA ET CLAVUS DOMINI). На внутреннем серебряном обруче – более подробный текст: «Милостию Божией Генрих IV, великий римский император, августейший, приказал сделать сей серебряный обруч, дабы скрепить Гвоздь Господень и Копьё святого Маврикия» (лат. CLAVVS DOMINICVS + HEINRICVS D (EI) GR (ATI) A TERCIVS ROMANO (RUM) IMPERATOR AVG (USTUS) HOC ARGENTUM IVSSIT FABRICARI AD CONFIRMATIONE (M) CLAVI LANCEE SANCTI MAVRICII + SANCTVS MAVRICIVS).

В своей срединной части копьё сломано и состоит из двух частей. Для того чтобы скрепить наконечник, в разное время на лезвие наконечника надевались накладки: железная во времена императора Оттона III (X – XI века), серебряная во времена императора Священной Римской империи Генриха IV (XI – XII века) и золотая со времён императора Священной Римской империи Карла IV Люксембургского (XIV век).

Лиутпранд Кремонский в его «Истории», законченной в 961 г., описывает Святое Копьё, принадлежавшее Оттону Великому. Это описание полностью совпадает с описанием хофбургского копья. Копьё Оттона Лиутпранд возводит, в свою очередь, к копью Карла Великого. Карл в 774 г. получил от римского папы в качестве священной инсигнии «победную ромфею» (копьё) императора Константина.

В классической «Энциклопедии оружия» выдающегося австрийского историка и оружиеведа Вендалена Бехайма венское копьё св. Маврикия упоминается как типичное раннесредневековое копьё с двумя крыльцами у основания, имеющее следы многочисленных позднейших добавлений, вроде прорезей в наконечнике и золотых накладок. Бехайм датирует его примерно IX веком н. э. и отмечает как артефакт, интересный с точки зрения истории оружия как один из старейших образцов копий эпохи Средневековья: «Особенно важен сохранившийся наконечник, который если и не такой древний, как утверждает легенда, то, несомненно, может быть признан старейшим образцом Средневековья. Это так называемое копье Св. Маврикия в сокровищнице австрийского императорского дворца в Вене. Если отбросить ореол святости, которым окутали набожные люди эту реликвию, то перед нами предстанет обыкновенное копье с двумя крыльцами у нижнего конца и короткой втулкой. Оно ничем не напоминает форму римского копья: среди обычных находок, относящихся к античности, нет ничего похожего. Зато в деталях этого наконечника легко узнается предок всех средневековых копий с крыльцами вплоть до XV века. В этих наконечниках видна специфическая форма, которая на древних миниатюрах, таких как Золотая псалтырь, обозначена лишь нечеткой линией. Вто-

[18] Аркульфа рассказ о святых местах, записанный Адаманом ок. 670 года. Издал и перевел И. Помяловский // ППС. СПб., 1898. Т. 17, вып. 1. С. 67—68.

[19] Повесть Епифания о Иерусалиме и сущих в нем мест первой половины IX в., под ред. В. Г. Василевского // ППС. СПб., 1886. Т. 4, вып. 2, кн. 11. С. 1, 10, 16. Комм. с. 49—58.

рой экземпляр копья этой формы несколько моложе первого, это копье из краковского Кафедрального собора».[20]

В 1909 году молодой и никому неизвестный художник Адольф жил в Вене, причем очень и очень небогато. Небольшие картинки с видами города не приносили особого дохода, а крупных заказов не было. Однако честолюбивые мечты не давали покоя будущему палачу народов. Одним из самых заветных чаяний Адольфа было то самое чудесное копье, легенду которого он хорошо знал. Во многом идеей завладения копьем юного художника мог заразить его приятель Альфред Розенберг, который в юные годы открыто увлекшись оккультизмом, неоднократно проводил спиритические сеансы по вызову всевозможных князей когда-то раздробленной на части Пруссии. Один из часто задававшихся вопросов этой сомнительной компании касался копья, хранившегося в музее. И на одном из сеансов, на котором, как однажды признался Гитлер, был вызван сам Оттон Третий – император Священной Римской империи, которому в свое время принадлежало таинственное копье, дух сообщили наблюдавшему за процессом Адольфу, что следующим хозяином копья станет он со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Повзрослев и утвердившись во главе «Новой Германии», фюрер уже в открытую говорил о своем поклонении заветному копью. Говорил буквально следующее: «В ту же секунду я понял, что наступил знаменательный момент в моей жизни. Долгие минуты я стоял, рассматривая копьё, совершенно забыв обо всем, что происходило вокруг. Казалось, что копьё хранит какую-то тайну, от меня ускользавшую, однако мною владело такое чувство, будто я знаю что-то о ней, но не в состоянии проанализировать её смысл в своём сознании. Копьё было чем-то вроде магического носителя откровения; оно открыло такое прозрение в идеи мира, что человеческое воображение казалось более реальным, чем реальность материального мира. Что за безумие овладело моим разумом и родило бурю в моем сердце?..»[21]

В созданном им в 1935 году Центре нацисткой религии в Берлине, существовала некая «Комната Копья» – небольшое помещение, в котором располагалась копия предмета вождения. Но копия не могла его удовлетворить, потому как не имела никакой магической силы, а потому не случайно первой жертвой мировой тирании стала Австрия, никому не мешавшая альпийская республика. Была даже проведена секретная операция по захвату «особо ценных» музейных экспонатов Хофбургского музея. Прежде чем бронированные немецкие колонны вторглись на суверенную австрийскую территорию, по личному указанию Гитлера местные венские эсэсовцы захватили Хофбург. Гитлер самолично явился в венский музей сразу после аншлюса и, как описано во многих источниках, «его дрожащие от волнения руки сняли стекло, столь долго отделявшее его от страстно желанной драгоценности, после чего онемелые пальцы легонько коснулись древнего железа, причем, не перчаткой – он жаждал кожей, своей плотью прочувствовать силу волшебного наконечника».

Со временем список артефактов Гитлера пополнился и иными магическими приобретениями. В инвентарном списке значились: зуб Иоанна Крестителя, лоскут скатерти со стола Тайной Вечери, над которой Иисус Христос в свое время преломил хлеб, кошель Святого Эльма, библия первого Римского Папы, камень из стены Иерусалимского храма и многое другое.

В октябре 1944 года англо-американские бомбы превратили в руины древний Нюрнберг. До основания была разрушена и старая крепость, в подземных галереях которой Гитлер спрятал свои сокровища. Не помогли ни бронированный бункер, ни особые заклинания подразделения агентов-оккультистов.

---

[20] W. Boeheim. Handbuch der Waffenkunde. Das Waffenwesen in seiner historischen Entwicklung vom Beginn des Mittelalters bis zum Ende des 18 Jahrhunders. Лейпциг, 1890 г.

[21] Michael Rißmann: Hitlers Gott, Vorsehungsglaube und Sendungsbewußtsein des deutschen Diktators, Zürich/München 2001, S. 138—172. См. также Hüser: Wewelsburg, S. 5f. и Friedrich Paul Heller/ Anton Maegerle: Thule, Vom völkischen Okkultismus bis zur Neuen Rechten, Stuttgart 2., erw. und aktualisierte Aufl. 1998, S. 157—162

В это время Красная Армия подступает к германской границе. В Берлине, Адольф Гитлер проводит экстренное совещание, на котором решается судьба сокровищ, причем, главной целью становится спасение копья – всем остальным диктатор был готов пожертвовать. Принимается решение – спрятать «копье Лонгина» в Альпах, в особом скалистом укрытии. Однако в возникшей неразберихе, в Альпы по ошибке отправляют «Меч святого Маврикия», а копье забывают в Нюрнберге. 30 апреля 1945 года подземелья Нюрнберга были обследованы американскими войсками, которые ничего интересного не обнаружили, а неприглядная ветошь военных просто не заинтересовала. Оно могло быть погребено под руинами, но копье прихватил на память американский генерал Паттон, который уже после войны, узнав о его ценности, передал властям только что освобожденной Австрии. Оно и по сей день хранится в Хофбургском дворце.

Так или иначе, будучи орудием убийства Христа, копье являлось сугубо дьявольским артефактом. Данное обстоятельство, в свете всего вышеизложенного, доказывает: власть сатаны базируется на его артефактах, отыскание которых становится целью жизни любого диктатора, мечтающего о ничем и никем не ограниченной власти.

Но самым потрясающим фактом, несомненно, является не это. Если принять за основу, что именно Гоголь по время паломничества к Гробу Господню обнаружил подлинное копье, то история копья, воспетого Гитлером, не выдерживает никакой критики. Казалось бы, наука становится перед неразрешимым вопросом о том, кто в действительности обладал им в 1845 году? Но ответ на этот вопрос оказывается ближе, чем кажется.

Чтобы дать на него полноценный ответ, оттолкнемся от недавно установленного факта того, что один из экземпляров копья, хранящийся в Кракове, есть не более, чем копия Венского копья. Значит, подделки имели место в истории сего дьявольского артефакта. При этом, стараясь выдержать «новодел» максимально приближенным к историческим реалиям, все мошенники отталкивались именно от вида и значения копья Венского. Но тут выясняется, что и само Венское копье – есть не более, чем сфабрикованная фальшивка!

Экспертиза, проведённая британским экспертом Робертом Фезером в январе 2003 года, включавшая рентгеноспектральный и флуоресцентный анализ, показала, что наконечник копья изготовлен в VII веке.[22] Доктор Фезер подтвердил, что копьё никак не могло быть создано во времена Иисуса Христа.[23]

В своем интервью для BBC историк говорит: «Издавна принято считать, что железный штырь это и есть гвоздь для распятия; он не только плотно сидит в лезвии и инкрустирован крошечными медными крестиками, но и соответствует по длине и форме тем гвоздям, которые использовались римлянами в I веке. И пусть мы не можем точно датировать железные фрагменты вокруг него… Возможно, все это домыслы, но мы не можем взять и просто отбросить их».

«Более того, здесь поработал искусный кузнец, а это значит, что он был выкован, а не выплавлен», – пишет историк Алек Маклеллан в своей книге «Тайна копья Лонгина. В чьих руках судьбы мира?».[24]

Размер наконечника был несколько крупнее тех, которые использовались римскими легионерами.

Та же экспертиза доктора Фезера установила, что серебряная проволока, которой скреплен сломанный наконечник копья, изготовлена ранее 600 года нашей эры, серебряная накладка изготовлена в XI веке, а золотая в XIV веке.

---

[22] The Sunday Times, Judgment day: Is 'the spear that pierced Christ on the cross' genuine? Forensic scientists decide, April 20, 2003

[23] BBC/Discovery Channel. Репортаж Копьё Христа, ведущий Чери Ланги, режиссёр Шон Тревизик. Atlantic Productions, 31 марта 2003.

[24] Алек Маклеллан, «Тайна копья Лонгина. В чьих руках судьбы мира?». – М., София, 2006 год. ISBN: 5-91250-001-2

Если соотнести все эти факты между собой, то получается, что Гитлер потерпел крах своих захватнических начинаний и не открыл для себя никакого тайного знания потому только, что поклонялся совсем не артефакту, а всего лишь его копии. Значит, версия о том, что именно Гоголь отыскал то самое, настоящее копье, фактически подтверждается наукой.

Иное дело – зачем оно ему понадобилось? Но тут уж волей-неволей вспомнишь про магическую его силу, в которую верили самые могущественные полководцы и самые жестокие диктаторы за всю историю человечества. Хотел ли Гоголь обладать подобной силой? Разве мало было ему силы слова, в котором ему поистине не было равных? Только ли то великое знание, что получил он вследствие владения копьем, было единственной целью, которую он преследовал, обладая такой реликвией? Может быть, ему нужна была еще какая-то сила, что заключал в себе сей артефакт? Но какая и зачем?..

Доктор Сигурд Йоханссон,
профессор истории Университета Осло

Глава девятая. Заколдованное место

Насколько благодатной прохладой и весенним обновлением в первый раз Малороссия встретила своего блудного сына, вернувшегося из Иерусалима весной 1845 года, настолько же неприязненно она привечала его спустя какой-то месяц, когда на дворе стояло лето, солнце нещадно палило, выжигая километры сельскохозяйственных угодий, реки высыхали, делая здешний воздух совершенно непригодным для дыхания, а появившийся словно из-под земли в каких-то невероятных количествах гнус мешал иногда даже открыть глаза. Такая погода несвойственна была малой Родине Николая Васильевича – и потому ему казалось, что украинская земля словно бы чувствует не благие его намерения, и противится им по мере сил. Конечно, отнятие у земли покойников – того, что принадлежит ей по праву и заведено так, чтобы всегда принадлежало – нельзя назвать богоугодным или созвучным человеческой природе делом, но есть ли такие идеалы, которых следует придерживаться в деле установления истины? Мысленно прося у земли и родных мест прощения за задуманное им, Гоголь неуклонно шел к истине.

На самом деле, старики понимали, что чересчур ранняя весна в этом году стала причиной столь жаркого и потому неблагодатного лета. Последний раз так здесь было лет сто тому назад, и старожилы подчас терялись в догадках о причинах такого поворота климатической картины. Не хотелось думать о плохом или мистическом – все-таки предпочитали списывать на цикличность истории и периодичность погоды. У Александра Семеновича Данилевского имелось на сей счет особое мнение:

– Отчего жара? Жара всегда от огня, который, как тебе известно, еще Прометей украл у богов с Олимпа. Так вот мне кажется, что случилось это только сейчас.

– Что ты имеешь в виду?

– Опыты Фарадея с электричеством.

– Что за ерунда? Как опыты английского ученого могут повлиять на климат в Украине?

– Могут. Ты же умный человек, понимаешь, что климатические явления на всей планете взаимосвязаны между собой.

– Ну, допустим. А Фарадей тут причем? Не станешь же ты утверждать, что Боги гневаются на него за изобретение электричества и лишение их определенных преференций?

– Нисколько. Я имею в виду, что электричество выделяет энергию, так? Энергию, не запланированную и не задуманную природой. А энергия это всегда тепло, так? Это значит, что вследствие выделения большого количества тепла, которое в природе изначально отсутствовало, оно повышает общий градус температуры во всем мире. С развитием человечества такой источник энергии как электричество будет все более расти и развиваться, значит, тепла будет больше и больше. Отсюда пойдет таяние ледников и общее повышение замеров Цельсия. Так что это только цветочки…

Не останавливаясь в имении матери, Гоголь принял решение сразу отправиться к своему сварливому дяде. Несмотря на увещевания Данилевского, который всю дорогу сюда наслушался от писателя о крутом нраве сорочинского помещика, Гоголь все же рассчитывал сыграть на его патриархальных чувствах и получить от него добро на эксгумацию и вскрытие тел Александры и Хомы. Он понимал, каким глубоким горем окутан человек, только что потерявший единственную, горячо любимую дочь. Зная нрав Ивана Афанасьева, была надежда на то, что в своем горячем стремлении отыскать убийцу, он согласится.

– Что?! Выкопать труп из земли?! Что это я слышу? – Яновский, до того убитый горем от смерти дочери, отказывавшийся от встреч и приемов и даже не умевший совладать с собой от постигнувшего его несчастья, в мгновение ока вскочил, побагровел, как это бывало обычно,

когда разговаривал он со своими крестьянами, наводя на них вселенский ужас, и заходил по комнате взад-вперед.

– Поймите, дядюшка, что только такое средство способно установить истинную причину смерти…

Яновский не имел терпения даже дослушать его:

– Вы, кажется, милостивый государь, только что вернулись из Иерусалима, чье посещение оказало на вас наивысшее в духовном смысле воздействие как на человека, истинно верующего в Господа нашего Иисуса Христа?

– Именно так.

– А позволяет ли учение Христа выкапывать мертвых?

– Учение Христа ничего об этом не говорит, а только чего оно категорически не приемлет – так это лжи, умолчания о совершенном грехе и безнаказанного убийства. Если сейчас не установить истинной причины смерти Александры, эта трагедия может стать не единственной в череде этих странных и страшных событий, – Яновский не понимал, о каких событиях идет речь, но, кажется, даже не старался навести поболее справок.

– Не говорит?! А проповеди священников – это что? Не божьи ли слова вложены в уста этих людей, любой из которых тотчас подвергнет вас анафеме за такое предложение?!

– Думается мне, что к Богу они имеют отношение не более, чем мы с вами.

– Что за ересь в моем доме?! И добро бы, просто произнесение богомерзких слов, но и попытка ваша оттого становится более кощунственной, что собираетесь вы надругаться над прахом собственной, невинно убиенной, сестры своей.

Тут Яновский в гневе все-таки проговорился и раскрыл истинную причину смерти, дотоле известную ему одному.

– Не желаете ли вы установить виновного в этом жутком супостатстве?! – искренне негодуя, развел руками Данилевский.

– Вас бы я попросил вовсе не вмешиваться в разговор и не прерывать его, когда ведется он мною и моим родным… племянником в моем же доме!

– Но интересы следствия…

– Чихал я на эти интересы! Каждому человеку дается разума столько, сколько положил ему Господь. Если чего-то мы не разумеем, каких-то тайн не ведаем – не значит ли это, что так и должно быть, так и задумано Господом?! Ежели угодно ему наказать виновного в преступлении, то оно обнаруживают и хватают мгновенно, а после предают скорому и суровому суду! Не так ли?!

– Да, но делают это люди, а не Бог! Не божьими, но человеческими руками осуществляется высшая справедливость божья!

– И так бывает не всегда! Если не обозначил перст указующий преступника, значит, преступления вовсе нет или свыше угодно было, чтобы остался он инкогнито!

– По-вашему выходит, что смерть человека по вине другого – не есть преступление? Смерть молодого, здорового организма, когда на уход его из жизни нет и быть не может воли Господа?!

– Скажите пожалуйста, как заговорил пан писатель! Что же, по-твоему выходит, что когда я насмерть засекаю розгами провинившегося крестьянина, который украл у меня или непочтительно обо мне отозвался или иным образом преступил мне, коему обязан всегда поклоняться и относиться с почитанием, то я совершаю преступление?! – Яновский провоцировал открытый конфликт. Гоголь и Данилевский понимали уже, что пора и самое время остановиться, поскольку на такой ноте ни до чего хорошего договориться не удастся, но Николая Васильевича было уже не сдержать. Он поднял перчатку, брошенную ему его оппонентом.

– Да. Вы совершаете преступление. Не вы наделяли человека, каким бы он ни был, жизнью, и не вы имеете право лишить его этого божественного дара, как бы он ни поступил

по отношению к вам. Подвергните его суду – божьему или человеческому – но не лишайте жизни.

– И значит, вы осуждаете меня, когда я на правах помещика делаю то, что делаю?

– Да, осуждаю, – тихо ответил писатель.

– В таком случае – вон отсюда, и чтобы ноги вашей не было в моем доме до самого второго пришествия!

– Доволен? – когда оба посетителя вышли на улицу, обратился к Гоголю Данилевский. – Впрочем, никакой другой реакции ждать не приходилось. И зачем ты вообще к нему пошел? Ты же прямой родственник, и сам вправе дать согласие на эксгумацию!

– Пойми, я считал своим моральным долгом обратиться к нему. Он – ее отец, и более него никто не может быть заинтересован в установлении истины по делу. С другой стороны, дав такое согласие, я поставлю себя против обычаев, против традиций, против семьи да и всего здешнего общества!..

– Невелика потеря, – отмахнулся Данилевский. – От закоснелого общества откажется писатель, давно уже порицающий его с его пороками и недостатками! Тоже мне трагедия!

Гоголь остановился и посмотрел другу в глаза:

– Наверное, ты поймешь меня, когда сам перенесешь такую трагедию…

Резко развернувшись, Гоголь зашагал в сторону двора, где оставлена была карета. Данилевский понял, что был резок с ним и захотел извиниться, но до конца понимания все же не было – он не знал главного. Не знал того, насколько успели сблизиться кузен с кузиной перед самой ее кончиною.

Весь вечер и всю ночь провел Гоголь без сна в имении матери. Заговорить с нею о том, о чем он уже говорил с Иваном, писатель не решился – последовала бы та же реакция, а подорвать отношения с матерью он был не готов. Теперь ему предстояло решить сложную дилемму – и либо согласиться на предложение Данилевского, которое он, в сущности, принял уже в Петербурге, либо уехать из Сорочинцев не солоно хлебавши. Тяготила его моральная ответственность перед дядькой, но еще сильнее была ответственность перед памятью сестры, которую никто из темных местных жителей не мог так защитить, как мог это сделать ее кузен сейчас.

Под утро в его комнату вошел слуга Семен:

– Тут к вам Вакула, кучер барыни.

Николай Васильевич видел молодого кучера у матери, но почти ничего о нем не знал – во времена его детства эти обязанности исполнял старый Яким, который давно уже отдал Богу душу, оставив в глубине души Николая Васильевича такие старые теплые воспоминания, которые может оставить пожилой человек, исполнявший функции твоего дедушки или бабушки в отсутствие оных. Без кучера в здешних местах прожить было нельзя, да и не полагалось такое помещице, а принимать на должность старика, если, конечно, он не выслужился должным образом перед твоей семьей и не имеет надлежащих заслуг, было бы верхом безрассудства – все-таки работа эта тяжелая, требует физических усилий, которыми может в полной мере распорядиться только молодой человек.

– А что он хочет?

– Как и все, поговорить. Про приезд ваш, про сестру вашу и про то, что вы с Александром Семеновичем задумали.

– То есть, тебе уже известно, что именно он хочет сказать?

– Не мне одному и не один он хочет – вся округа только и говорит о том, что Господа вы прогневите, если станете покойников из земли выкапывать. Не богоугодное это дело, не гневайтесь…

– Ну а зачем тогда он, если ты и так являешься выразителем общественного мнения?

– Да ведь вы меня не слушаете…

– А его, ты полагаешь, послушаю?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.